

Дама сдавала в багаж...

У Виты Моисеевны – сикоз. Не знаете, что это такое? Это Гарик, сыночек дорогой, показал ей фигу. Вернулся из гаража и ткнул ей прямо в нос свой длинный палец, провонявшийся автомобильной грязью. А ей много не надо, у нее перегородка всегда была слабая! На ярком солнце даже сосудики видны! Чуть ковырнешь, или мячом попадут – тут же течет кровь! Может и воспаление начаться. А Бэтя, подруга дорогая, еще и поиздевается: “У тебя в носу красные нитки налипли! У тебя нос – как у воробья! У тебя рот от уха до уха! Вот такой!” И растянет свой собственный рот двумя пальцами.

Вита Моисеевна, бедненькая, часами стояла у зеркала, беспокоилась: как же оно будет?! Действительно: нос – торчит, рот – длинный...

По правде говоря, собственное отражение ей нравилось. И не столько большие серые глаза с тонкими бровками вразлет, о которых все говорили, что они точно такие, как у тети Эти (тетя Этя считалась главной красавицей в родне), не столько даже ямочки на пухлых щеках – сколько длинные косы с большими бантами и красное платице.

Отец привез его из Варшавы. Он ездил туда по несколько раз в год закупать товар для хозяина – и каждый раз привозил что-то замечательно красивое для Виты Моисеевны. Конечно, Бэтя завидовала и старалась обязательно испортить настроение. “У тебя и тут бантик! И тут бантик! И тут бантик!” Она входила в такой раж, что и себя уже не жалела, выгибалась, жеманно выставляя попку, и щипала ее слева, справа и напоследок в центре! “И тут, и тут, и тут!”

Вите Моисеевне было очень обидно. А вместе с тем и смешно, так что она то ли смеялась со всхлипами, то ли плакала со смехом, доказывая, что бантиков всего три! “Тои-и! Три-и!” На рукавчиках и на пояске. “Вот! Вот! И вот!” Но чем громче Вита Моисеевна доказывала свою очевидную правоту, тем громче вокруг хохотали. Хотя платице было совершенно очаровательное! Юбочка из трех гофрированных оборок, на грудке – кружевная полочка... Да что говорить! Отец разбирался в вещах и Вите Моисеевне сумел привить вкус с самого раннего детства.

А этот... сыночек ненаглядный! – смеет утверждать, что не подменял ей свитер! Якобы она плохо присмотрелась, когда покупала его в универмаге! Якобы в кабинке было темно! И, главное, все на его стороне! Лерка, преданная дочка, даже слушать не стала! “Скажи, – говорит, – спасибо, что он тебе фигу показал, а не залепил пощечину за то, что ты обозвала его вором!” Вором?! Да она и слова такого не произнесла! Она только положила перед ним этот свитер и попросила, чтобы он вернул его своей любовнице! Ей, Вите Моисеевне, не нужен чужой растянутый свитер! Да еще с помадой на воротнике! Что же тут такого оскорбительного?! И главное, поделиться не с кем! Маня малахольная, типун ей на язык, завела свое, как всегда: “Не трогай его! Оставь его в покое!

Смотри, Вита, доиграешься, доведешь ребенка до инфаркта!” Это он доведет ее до инфаркта!

Он – и они. Все вместе. В особенности Бэтя. Ее послушать – так Вита Моисеевна совсем уже выжила из ума. Какая наглость: уверять, что это она сама не заметила помаду, когда покупала свитер! А велик он на нее стал потому, что она, видите ли, за этот год похудела! Да у ее свитера даже оттенок был совсем другой! Это она, Бэтя, не отличит серебристо-бежевый от серебристо-кофейного! Что с нее возьмешь, если на ней с самого рождения все висело и морщило?

Конечно, это семья была такая. Порядочные, умные люди. И Бэтя была большая умница – иначе кто бы с ней дружил? Но жить красиво не умели, хотя были совсем не бедные. Так что на Бэте, на седьмом ребенке, каждая вещичка была линиялая, выношенная четырьмя сестрами. Ни одна одежда не была ей впору. Талия – то на бедрах, то под мышками, будто нельзя было чуть-чуть подогнать платье, чтобы ребенок выглядел по-человечески! Так она и привыкла. Но всю жизнь завидовала Вите Моисеевне и искала, к чему бы придраться. “Ты не только похудела – ты даже ростом стала меньше. Наверное, потому, что ноги искривились. Разве ты не замечаешь, что стала ходить, как утка?” Теперь – как утка, раньше – как курица... Интересно, что она еще придумает, дорогая подружка? Может, снова усадит ее в коровий навоз?

Надо было с ней порвать еще тогда, когда она испортила Вите Моисеевне пальто. Что за пальтишко было! Умели делать вещи поляки! Красненькое, плюшевое, на капоре два букетика из шелковых цветочков! Вот тут – и тут. Подкладочка шифоновая и длинные ленты. Все прохожие оглядывались. Главное, надела его первый раз, в день своего рождения!

С утра бабка повела ее на базар выбирать детские книжки. Приказчики в книжных лавках знали бабку и зазывали наперебой. “Пани Блейнис! Пани Блейнис! Зайдите к нам, будьте ласковы! Оставили специально для вас! “Василиса Премудрая”, “Сказки братьев Гримм”! Вчера получили! Чудные картинки!”

Вита Моисеевна становилась на цыпочки, хорошенький клювик ее показывался над прилавком, светлые глазки ревниво сравнивали обложки на раскладке: она должна была убедиться в том, что бабушка выбрала самую лучшую книгу. Потом она шла по городу, на один шаг обгоняя бабушку, и держала свою книжку обеими руками – так, чтобы каждый мог ею полюбоваться.

А какая была весна! Просторная, сухая! Какой был день! Вита Моисеевна полагала, что ее книжка, ее красное пальтишко, ее лаковые ботиночки призваны украшать улицу так же, как первая травка, как подснежники в корзинах девушек-цветочниц, как черный бабкин жакет, как бабкина кремовая шаль с углом, закинутым на спину и похожим на крыло. Ветер носил из конца в конец города медовые нежные запахи. Вита Моисеевна шла легко, готовая взлететь, запеть, как птичка. А вокруг нее, как бы случайно, не приближаясь, носились соседские мальчишки, высекая с просыхающей земли первую пыль, скакали на палочках... Такие хорошие мальчики, такие толковые! Леня Фойер! Мотя Поплавский, академик! Витя Зуев, журналист! Илюша Рабинович, главный

инженер... И этот самый, как его, министр тяжелого машиностроения... Ну и Натан, конечно, хотя и держался он совсем уж с краю, то и дело исчезая за каким-нибудь деревом или забором. Провожали до самой калитки.

Надо же было бабке оставить ее возле дома погулять с подружками! И откуда там взялась коровья лепешка? Когда уходили, ее не было... Будто Бэтя сама все и подстроила – так и бросилась навстречу! “Ой, что я знаю! Такой секрет! Расскажу тебе, если ты сядешь вот на это!” Распалила бедную Виту Моисеевну до слез!

И ведь что самое обидное! Вита Моисеевна сразу знала, что Бэтя обманывает ее! И все-таки села! Села на свежую коровью лепешку в плюшевом пальтишке, впервые надетом!

Разве не следовало порвать с ней еще тогда? Но что-то такое было в Бэте, от чего Вита Моисеевна всегда пасовала перед ней. “Перестань позорить ребенка с этим свитером! Это что – вторые чулки?! Ты тогда тоже всем наговорила, что он забрал у тебя чулки, а потом они нашлись!”

Конечно! “Нашлись!” Потому что он их подкинул! Купил в том же магазине, в таком же кульке, разве что оттенок чуть-чуть отличался. Но главное – он забыл, что утащил их из тумбочки! И сунул в выдвижной ящик буфета, где у нее лежат кухонные полотенца и документы. Ну как бы это она положила среди документов чулки?! Только Бэте могло такое прийти в голову! Это у нее, у Бэти, лежат вперемешку простыни и лифчики! Это она может в одном и том же тазу помыть голову и сварить варенье! Это у нее одна тряпка для плиты и для стола! Что с нее возьмешь? Так ее бабка вела дом, ее мама... А в доме Виты Моисеевны каждая вещь имела свое место и свое назначение. В городе говорили, что у Блейнисов в туалете чище, чем у кого-то в гостиной.

Ах, этот дом! С улицы вход был только в лавки. Левую снимала шляпница Рива Бланк, правую Мирон Шульман, часовщик. В квартиру входили со двора, через калиточку. Так вот уже эта калиточка была не такая, как у всех. Какая-то особенно ладненькая, пригнанная! Так и хотелось войти!

А как была выложена дорожка! Кирпичик к кирпичику! И зеленые усики травки торчали, будто для красоты расставленные в щелях! А лесенки? А пол в передней? Чистый, гулкий, как музыкальный инструмент! У каждой половицы своя тональность.

Весенний дом, в котором впервые распахнули окна... Деревянный, чистый, сытый, светлый, свой, известный тебе до каждой вмятинки в полу, до каждой точки на стекле... Дом, где пахнет пирогами, молоком, подснежниками, где все тебя любят, где все бегут тебе навстречу... И весенняя радость входит с тобой в открытую дверь... А на тебе новое пальто, облепленное сзади комьями свежего навоза, и плачешь ты не оттого, что испорчена новая вещь, а оттого, что Бэтя тебя обманула. Не знала она никакого секрета.

Конечно, бабка расстегнула на Вите Моисеевне штанишки и отхлестала розгой по сдобной заднюшке. Потом они с Палашкой два дня возились с этим пальто, терли керосином, вымачивали в уксусе, но оно уже не было таким, как прежде.

Самое смешное, что после всего случившегося Вита Моисеевна пошла к той же Бэте жаловаться на бабку.

Надо сказать, что Вита Моисеевна была привязана к бабке меньше, чем к другим членам семьи. Бабка была строгая, молчаливая. Ее чрезмерная, тяжеловесная любовь тяготила. Казалось, бабка вечно начеку, вечно спасает Виту Моисеевну от легкомыслия окружающих – начиная с собственного мужа. Сам сорок лет задыхался в книжной пыли, довел себя до сухотки – так он еще и ребенка норовит затащить в свою контору! А для Виты Моисеевны, для дурочки, не было лучшей игрушки, чем счеты и бухгалтерские книги. Хотя чего только в доме не имелось! И куклы, и мячики... Уж на Вите Моисеевне не сэкономили!

Стоило посмотреть, как ее одевали по утрам... Один несет туфельки, другой – платице, третий – наглаженные банты, четвертый протягивает чашку с молоком и пирожок. Но это уж была привилегия бабушки. Бабушка со строгим лицом принимала чашку из рук Палашки или матери Виты Моисеевны – так хирург принимает скальпель и тампон из рук ассистента. Матери она не доверяла, считала ее слишком молоденькой. Отец был намного старше, но, по мнению бабки, недостаточно серьезен. Дед кашлял. Палашка сама боялась прикоснуться к Вите Моисеевне, хотя и любила ее с религиозным трепетом. И лишь изредка, сливая воду на ловкие ручки, пухленькие, в младенческих ямочках и перетяжечках, не выдерживала и с робким исступлением припадала губами к скользкой от мыла коже.

И по этим ручкам, по этим косточкам бить грязным огрызком веника! Причем после того, как она месяц мучилась со своими воспаленными тофусами и не знала уже, чем спастись: ни мазь Вишневского, ни синтомициновая не помогали. Спасибо, Нонка Соколова подсказала ей делать ванночки из мочи! А после этого веника у нее снова появилось какое-то покраснение, и моча его не берет.

Спрашивается: за что? За то, что она сказала ему правду. А куда деваться, если у нее не было денег даже на хлеб? В этом кошельке лежала ее пенсия за два месяца. И как только он, подлый, его разыскал? Ведь кошелек висел в щели между стеной и буфетом – да еще под краем ковра! Висел на крошечной булабочке, его ниоткуда видно не было! Это же надо быть таким извергом: обыскать весь дом и похитить у матери пенсию! Ну хотя бы половину забрал! Нет – все! И прицепил кошелек на то же место, той же булабочкой! Счастье еще, что не забрал оттуда цепочку и золотую коронку. Не заметил, наверное. Лерка бы решила, что Вита Моисеевна подарила цепочку Анечке. Или продала.

Если подумать, Лерка еще хуже Гарика. Готова у матери из горла вырвать последнее. Спрашивается, почему она должна отдать Лерке все и сейчас же? А вдруг Вите Моисеевне надо будет куда-то выйти прилично одетой? Вдруг ей придется продать эту цепочку, чтобы купить лекарства? Разве на таких детей можно надеяться?

И при этом все на их стороне, особенно Бэтя. Ее послушать, так во всем виновата Вита Моисеевна: она сама потеряла документы, сама засунула деньги неизвестно куда. А Гарик у нее – страдалец. Хорош страдалец! Видит, как мать ищет по всему дому, сбилась с ног, а сам сидит в кресле и смеется. И еще вот так вот ножкой делает, назло...

Хорошо, что она догадалась позвонить ему на работу. Тут-то он испугался, что на заводе узнают, кто такой их главный инженер. Достал эти деньги и бросил ей, как собаке. Чуть пепельница не разбилась, которой ее наградили к пятидесятилетию Победы. И вместо того, чтоб признать свою вину и попросить прощения – веником по руке! Ей надо было снять в милиции побои, и Бэтя знала бы, кто виноват. И не трещала бы при посторонних: “Это он дал тебе свои деньги, чтобы ты оставила его в покое! У него из-за тебя был гипертонический криз! Лучше бы искала среди тарелок или в старых ботах!”.

Язва такая! Всегда знала, чем допечь Виту Моисеевну! И не только допечь, но и выставить другим на посмеяние. Как тогда, с клоунским костюмом. Ведь это она натравила Натана на Виту Моисеевну! Наговорила ему исподтишка, что комбинезончик Виты Моисеевны – это сшитые вместе две пары бабушкиных панталон. А он разошелся: “Клоун! Клоун! Рот метровый! Отдай бабушке панталоны!” Довел ее до того, что Вита Моисеевна расплакалась. Уже пора было открывать занавес, а она все всхлипывала, и Николай Лукич утирал ей слезы своим платком и уговаривал: “Ну что же ты плачешь, глупенькая? Разве ты не понимаешь? Ты ему нравишься – вот он и дразнит тебя. У тебя и роль самая важная. И костюмчик самый красивый, даже красивее, чем у куклы! На тебе весь спектакль держится!”

Так она и вышла на сцену – с мокрыми ресницами, склеенными в редкие колючки. И сыграла свою роль лучше, чем всегда: танцевала, прыгала, будто ножки у нее резиновые! И так все было к месту: ее глазки, круглые щечки, хрипотца в голоске! А уж костюмчик!

По правде сказать, левая половинка была и в самом деле сшита из бабушкиных панталон. Но такого нежного батиста она никогда, никогда больше не видала! Серенький в белых и розовых цветочках. Он просто изумительно гармонировал с правой половиной, сшитой из желтой атласной скатерти, с которой не смылось пятно от кисло-сладкого жаркого. И все это было щедро оторочено кружевом. Пышный трехслойный воротник стоял, как балетная пачка, огромные пуговицы обтянули черным бархатом...

Конечно, Бэтю брала досада! Сама она стояла на сцене, завернутая в одеяло, в чепчике и с соской во рту. Слов у нее вообще не было. Требовалось лишь несколько раз выкрикнуть: “Уа! Уа!”. Вот она и отомстила.

После этого случая Вита Моисеевна решила никогда больше с ней не мириться. Но получилось, как всегда. Не могла она без Бэти – и все тут! Как было не рассказать ей об Ольге Порфирьевне? Та подошла к ее родителям после концерта и сообщила, что хочет записать Виту Моисеевну в свой балетный класс.

И что же? Бэтя лишь противненько пожала плечами: “Не понимаю, почему она выбрала тебя. Лично я бы выбрала Маню!”

Да... На это возразить было нечего. Мане завидовали все девочки, без исключения – ее огромному банту, шелковой юбочке, кружевной пелеринке... В спектакле Маня играла куклу, и эта роль была, конечно, для нее. Хотя, по правде сказать, играть там было нечего. Стой себе и повторяй каждые две минуты: “Ах, я умру от страха!” И чем неестественнее – тем лучше. На это

хватало и Маниных способностей. Видно, автор пьески предполагал, что самая красивая девочка непременно окажется и самой глупой.

Кстати сказать, Маня не была так уж глупа. А к своей красоте относилась, как... как к меду, из которого ее дед варил прохладительный напиток. Слишком много его было в доме, слишком сильно им пахло. Иногда Маня приводила в подвал детей и смотрела – не то, чтобы с отвращением – с недоумением, как те выковыривают из бочек шершавые, сладкие до горечи глыбки и с удовольствием сосут их, грызут...

Казалось, Манина красота принадлежит не столько ей, сколько всему городу – так же, как гимназия Поповой, парк или Дом Благородного собрания. Терпеливо, без малейшего тщеславия, позволяла она любоваться собой всем подряд: и знакомым, и случайным прохожим на улице.

Однажды человек в широкополой шляпе, представившийся художником, остановил Маню возле гимназии. Он полчаса смотрел на нее и плакал. Настоящие быстрые слезы скатывались по его щекам в жесткую черно-седую бороду. И неизвестно, сколько продлился бы этот плач, если бы Вита Моисеевна с Бэтей не увели подружку.

Тот, кто сотворил Манино мраморное лицо и расписал его тонкой кистью, перестарался. Произведение получилось слишком дорогое и хрупкое, его хотелось обойти стороной. Как-то сразу было ясно, что не принесет эта красота Мане ни радости, ни счастья. Хотя ядовитая Бэтя все время норовила подколоть Виту Моисеевну: “Вот у Мани ресницы – так ресницы! Вот у Мани губки! Вот у Мани локоны! А у тебя губы ехидные, у тебя щеки, как булки! У тебя...”

И всю жизнь Вита Моисеевна ее терпела! Может, потому, что, когда она осознала себя, их дружба втроем была уже такой же незыблемой данностью, как то, что в столовой стоит буфет, а в спальне дед выкашливает остатки жизни, а на чердаке сложена пасхальная посуда... а в пятницу пахнет вымытым полом и пирожками с горохом... а в субботу приходят бедные гости и Вита Моисеевна читает им “Жил маленький мальчик...”, а бабушка прикалывает ей булабочку от сглаза и носит одну над другой три юбки: батистовую с кружевом, шелковую с вышивкой и лентами, а сверху – скучную, черную, из альпака.

Завистники, которые предполагали, что Вита Моисеевна, Маня и Бэтя ходят вместе из каких-то сложных соображений, заблуждались. Ну какой был смысл постоянно находиться в тени Маниной красоты? По уму она им в компанию тоже не годилась: все-таки и Вита Моисеевна, и Бэтя были отличницы.

Две отличницы... Тоже не очень-то гармоничное сочетание! Тем более, что в школе и одноклассники, и учителя вели себя так, будто пятерки Виты Моисеевны были по качеству выше, чем пятерки Бэтины.

Почему так происходило?.. Трудно сказать. Что-то такое было в Вите Моисеевне... особенное, свойственное единственному ребенку в семье. Причем в хорошей семье, в хорошем доме. Удачному ребенку, захваленному, зацелованному, отполированному до сияния любящими взглядами,

выхоленному до каждой волосинки. Легко ли было самолюбивой Бэте постоянно видеть рядом платья и банты Виты Моисеевны, ее школьные фартучки с пелеринками, отороченными двумя рядами кружев – в то время, как ее собственный, весьма скромный передник прикрывал на юбке, переставленной задом наперед, дырку, протертую тремя сестрами! Легко ли было вечно слышать, как подружки восхищаются длинными косичками Виты Моисеевны, и ее светло-серыми глазами, и бровками вразлет! Ведь, в отличие от фартука, Бэтины карие глаза были ничуть не хуже, и курчавые русые волосы могли бы вызвать и зависть, и восхищение. И уж точно – разговаривать с ней было ничуть не менее интересно, чем с Витой Моисеевной!

И что же? Никто этого не замечал. Во всяком случае – мальчики, которые проходу не давали Вите Моисеевне. Хотя, по правде говоря, успех этот был довольно обременителен. Например, Милька Эпельфельд, сын лучшего в городе адвоката и главный хулиган в гимназии, запускал в Виту Моисеевну по особому скрученные горящие фитильки, которые прожигали в ее шелковых фартучках маленькие дырки. Липа Пиковский подбрасывал в чернильницу дождевых червей...

А сам Натан? Этот его тяжелый, мрачный взгляд, повсюду... где бы ни оказалась Вита Моисеевна... Бывало, играет она с девочками в кукол или в мячик – и что-то будто остановит ее, придавит. Оглянется она, поводит светлыми, притворно-невнимательными глазками – и обнаружит его, Натана, за забором или на дереве. Смотрит исподлобья, пристально и недобро. Будто примеривается, куда бы это ударить Виту Моисеевну, чтобы побольнее.

Натан был старше их на два года, но без всякого стеснения подходил и пялился на девчачью беготню и игры. И все знали, кто именно его интересуется. Вита Моисеевна становилась особенно ловкой, особенно легкой – не бегала, а летала! Взмывала на своих кружевах! Как же ей завидовали все девочки – на этот обжигающий взгляд, на дождевых червей и даже на дырки в переднике!

Милька Эпельфельд... Он погиб в самом конце войны, в Австрии. Тоже был поклонник! Сколько раз Вита Моисеевна из-за него плакала! Он бы и пальто ей испортил, если бы она не возвращалась домой с Петром Петровичем, преподавателем математики. Они жили по соседству.

Вита Моисеевна любила поговорить с Петром Петровичем. К тому же еще больше, чем Мильки, она боялась сумасшедшего Юзека, который прятался за черным деревом. В присутствии учителя он не приставал к ней со своими глупостями. Кстати, и самого этого дерева она боялась. Когда-то, еще до рождения Виты Моисеевны, в дерево попала молния. Но Анеля, вдова генерала Масловского, почему-то не хотела его срубить.

Мимо Анелиной усадьбы вели две дорожки, и с одной из них дерева вовсе не было видно. Но Вита Моисеевна, которая знала в городе чуть ли не каждый булыжник, именно с этими дорожками почему-то вечно путалась. Бывало, идешь спокойно, видишь гладкое небо над забором – и вдруг, невесть откуда, а, пожалуй что, именно с польского кладбища... бросается тебе наперерез накренившаяся в беге огромная обугленная фигура со вскинутыми вверх руками, с запрокинутой головой и коротким суком на середине ствола, от

которого до самого низа идет глубокая трещина, делящая ствол как бы на две ноги...

Этот-то сук, особенно после того, как кто-то потерпел неудачу, пытаюсь его срубить, возбуждал в Юзек приступы похабного веселья. Он нарочно поджидал гимназисток, а те, столкнувшись с ним, затыкали уши и старались поскорее пробежать мимо. А Юзек что-то кричал им вслед про негра, про обрезание – так что и пожаловаться на него родителям было неловко.

Юзек Петра Петровича боялся, а Милька – не очень. Мог и при нем запустить в спину тяжеленный снежок, который оставлял на голубом сукне серое пятно. Петр Петрович качал головой и разводил руками. “Ну что тут поделаешь? Любовь!”

У этого любовь, у того любовь... А за пятно, за дырку влетает Вите Моисеевне! Матери все равно, как это получилось – ей передника жаль. Сама еще девочка была... Посмотрела в эту дырочку на свет – и так горько расплакалась! Шелк-то был дорогой, варшавский...

А Бэтя, подружка дорогая, выставила ее на смех при всех гостях, при Леркиных и Гарика сотрудиниках! “Ей шили платья из старых бабкиных панталон!” Все прямо покатались со смеху! Думали: “старые панталоны” – это такие линялые трикотажные штаны, как их собственные бабки носили!

Мать Виты Моисеевны так никогда и не привыкла к этому убожеству. Бывало, стирает в тазике (это уже после войны, конечно, уже при Хрущеве... а, может, еще при Сталине...) и говорит: “Какое же сейчас белье уродливое! стыдно во дворе вешать!”

Бабкины панталоны не стыдно было сушить во дворе! Такие кружева, такой батист! Такая тонкая работа! Ну да, было, было у Виты Моисеевны и летнее платьице, сшитое из бабкиных панталон. Из новых, конечно. Что-то там бабку в фасоне не устраивало. Позвали Фиру Бляйх, и она сшила такое платьице, что Вита Моисеевна выглядела в нем, как фея, как цветочек! Сама Марья Ивановна Лебедева восхищалась этим платьем! Вита Моисеевна слышала своими ушами, как она говорила сестре: “Ты посмотри, Соня, какая прелесть! Эти глазки, эти ручки! А платьице какое очаровательное!”

Не кто-нибудь сказал – дворянка, помещица! Образованная женщина! И, конечно же, Бэтя тоже слышала это, потому что была рядом. Все слышали. Они как раз собрались под балконом играть в горелки: Петя и Коля Лебедевы, Натан, Вася Федоров, Анечка Болотникова, этот самый – Шура Покровский, главный редактор журнала “Агитатор”... Ну, и они втроем, конечно.

Вот такой был город! Аристократическая семья, сыновья учатся в столице, в кадетском корпусе – и не считают для себя зазорным пригласить в гости еврейских детей! еще и коляску за ними посылают! Кучер едет по городу, и все знают, куда и зачем. Останавливается перед домом Виты Моисеевны, статный, уважительный: “Господа просят, если можно, вашу барышню к нам на детский праздник”.

Ну и Маня с Бэтей уже тут как тут. Это ведь еще за неделю известно было, что в воскресенье у Лебедевых праздник для детей.

Усаживались чинно, ничем не выдавая радостного нетерпения. Соседи смотрели из всех окон. Бабка ходила вокруг коляски – прикидывала, достаточно

ли она надежна для ее сокровища. Дорога была недалённая и такая красивая! Через луга, вдоль леса. Ветер дергал на их платьях оборочки, высвобождая из строгих причёсок лукавые завитки, будто подбивая пошалить, попробовать на вольном воздухе свой нестесненный голос. А, может, и вскочить, а, может, и взлететь! Так что даже жалко было, когда оказывалось, что уже приехали. Людей всегда было много. “А! Цыганочка!” – несло со всех сторон.

Нельзя сказать, что Маня и Бэтя были доверком к Вите Моисеевне. Когда Маня входила в комнату, все, и особенно взрослые, видевшие ее впервые, просто терялись и умолкали. Потом поднимался тихий шелест на французском, которого Вита Моисеевна не знала, но понимала женским ревнивым чутьем каждое слово. Что ж, этот неприятный момент надо было пережить, перетерпеть. Уже через час на Маню переставали пялиться. А когда начинались игры, беготня – она и вовсе оказывалась сбоку припеку. Тут уж наставало время Виты Моисеевны. Гибкая, прыгучая – казалось, она порхает одновременно во всех концах парка. Длинные косы взмывали и бились, путаясь, как летучие змеи. Мелькало кремовое платице в зарослях дикого кустарника. Старые деревья стояли, как борцы, сцепившись в вышине – будто готовились выдрать друг друга с корнями из пружинящей под ногами земли. А Вита Моисеевна тогда и оценить-то не могла, дурочка, какое это счастье – прижиматься к могучим шершавым стволам, ловить зубами немытую ежевичину и не бояться, что все это посыпано цезием и натянуло в себя стронций!

Вита Моисеевна пряталась в ежевике. Она уже готовилась выбежать из своего укрытия, когда услышала за спиной легкий хруст. Горячая твердая рука властно схватила ее маленькую ручку и потянула в противоположную сторону. Она оглянулась и увидела Натана. Он прижимал палец к губам, азартными гримасами давая ей понять, что хитрая Бэтя находится именно там, куда Вита Моисеевна хотела побежать. И она покорно пошла за ним, шаг в шаг, таинственно присогнувшись и высоко поднимая колени – чтобы ни хруста, ни шороха. Ей было странно, но она не чувствовала никакого смущения, будто так и надо. Будто у него есть право брать и вести ее за руку. Хотя до того дня он ни разу не коснулся ее – да и не говорил с ней ни разу. Если не считать его насмешек по поводу клоунского костюма.

Пожалуй, ей было даже немного жаль, когда на полянке им пришлось разнять руки, чтобы броситься поодиночке к старому ясеню и ударить по стволу обеими ладонями. “Тра-та-та за себя!” – кричала Вита Моисеевна уставшим от счастья голосом. Она знала, что взрослые с балкона любят ее, ее развязавшимся бантом...

Особенно любила Вита Моисеевна широкую поляну за домом Лебедевых. О дорожках и клумбах там напоминали лишь обломки каменных бордюров, невидимых под путаницей полевых цветов вперемешку с одичавшими кореопсисами. Зеленый простор, пересеченный тонкой полоской реки, сходил по ровной, чуть накренившейся линии с еще большим пространством голубизны небесной. Всей этой красоте просто необходимы были и этот бант, и белое платице, подхваченное внезапным ветром. Будто живописец оставил на самый конец и набросал с особенной радостью несколько светлых мазков. А

потом вдруг надумал – и откуда-то, будто из засады, выволок огромную темно-стальную тучу, которая успела всех их вымочить насквозь, пока они, визжа вразнобой, добежали до дверей дома.

Тот дождь кончился так же внезапно, как и начался. Вита Моисеевна терла голову полотенцем и смотрела в окно. Уже появилось солнце. Быстро на глазах высыхало крыльцо. Веселый парень, посланный в город за сухой одеждой, спрыгнул с белой кобылы и понес к дому корзину с разноцветными узелками. Она издали узнала свой узелок, увязанный в бабкину бордовую косынку, и сразу догадалась, что розовый, линялый, передали для Бэти. Вита Моисеевна знала, что Бэтя сейчас обмирает от страха. Она и сама боялась, как бы Бэтин узелок не развязался. Как бы кто-нибудь случайно не увидел ее чиненное-перечиненное бельишко.

Свои вещи Бэтя вытягивала по одной, воровато, но латочки, штопочки предательски вышмыгивали то там, то здесь. Вот и взъелась она на Виту Моисеевну, которая в беспорядке разбросала по дивану варшавские чулочки, рубашечку и светло-серое креповое платье. Всю жизнь не могла ей этого забыть! Пользовалась каждым случаем, чтобы испортить настроение. Она и тогда буркнула Вите Моисеевне какую-то гадость про ее платье, но та не обратила внимания.

Какие были времена! Как все было красиво! Зажигали лампы, отодвигали мебель. Поднимали огромный черный плавник рояля. Коля Лебедев и Натан играли дуэтом из “Фауста”. Коля – на рояле, с листа, Натан – по слуху, на мандолине. Бэтя читала “Бесов” и “Воздушный корабль” – так хорошо, что у Виты Моисеевны мурашки ходили по спине. Она так гордилась Бэтей! Не только Бэтей... Всеми этими девочками и мальчиками, ее ровесниками. И, танцуя цыганочку, думала, что так старается именно для того, чтобы взрослые еще больше восхищались их расцветающим, хорошеющим, таким талантливым поколением... Но Бэтя ничего этого не понимала и считала, что Вита Моисеевна хочет выставиться, всех затмить, широко взмахивая шалью Марьи Ивановны.

Тяжелая, черная, с длинной бахромой и полыхающими красными розами... Вита Моисеевна растягивала ее так, чтобы всем был виден узор. До судороги разводила полудетские плечики, прогибалась назад, изображая цыганскую страсть и томление, лукаво взглядывала из-за плеча своими такими нецыганскими глазами под привычный рокот восхищения...

И вот она сидит, подруга дорогая, и молчит, и слушает, как Лерка-стерва при всех гостях унижает мать: “Ну какая из тебя балерина с такой молочной фермой?”

Каково?! Надо было окончить школу с медалью и университет с красным дипломом, чтобы стать такой хамкой! Но на этот раз Вита Моисеевна не выдержала и ответила ей не хуже: “Ты на свою ферму посмотри! У тебя еще лучшая ферма! Колхоз-миллионер! И я, между прочим, своих детей кормила до года, причем они у меня были, как поросятки! Все оглядывались! А ты бегала на Стрелецкую за искусственным питанием!”

А Лерке хоть бы что! “Да! Но я же не строю из себя Майю Плисецкую!”

Как будто Вита Моисеевна строит из себя Плисецкую! Но, между прочим, кроме Плисецкой, в Москве была Уланова. И Бессмертнова, и Максимова. А Вита Моисеевна в своем городе была одна. И пусть Лерка, накрученная своим лысым умником, не может себе представить, что кто-то ценил ее мать, восхищался ею... Но Бэтя! Что ж ты сидишь, дура старая, и моргаешь Лерке исподтишка? Оставь, дескать, ты же знаешь свою мамочку... Какая подлость! Что ты киваешь, что ты подмигиваешь?! Разве ты не видела, как Вита Моисеевна работала у балетного станка? Не видела, как Вита Моисеевна на сцене Благородного собрания танцевала “Вальс цветов”? Или “Цыганочку”, которую всегда оставляли на закуску? Да если бы там сама Плисецкая исполнила своего “Умирающего лебедя”, ей не хлопали бы громче, не принесли бы цветов больше, чем Вите Моисеевне! Город ходуном ходил, когда она выступала! Плисецкой и не снилось такое! Неужели Бэтя забыла, как престарелая Нина Тихоновна, которая давно уже не работала в гимназии, вдруг появлялась на улице в своей черной пелеринке, с букетом сирени, таким огромным, что к ней приходилось обращаться сбоку? “Нина Тихоновна! Куда это вы спешите с таким букетом?” – “Как же! Разве вы не знаете? Сегодня в Благородном собрании танцует маленькая Блейнис!” Улыбалась, как лукавый гномик из-под куста. Да, мол, еще жива и в курсе событий...

Что ж ты об этом гостям не рассказываешь? Ты же уверяешь, что у тебя нет склероза? Молчала бы уже! Нет, она еще и льет воду на Леркину мельницу! “Какая Плисецкая? Какая Плисецкая? Плисецкая и на старости лет тоненькая, как тополь! А ты всегда была в теле. Тебе еще и двенадцати лет не было, а у тебя уже сиськи тряслись, когда ты танцевала!”

Возможно, у Виты Моисеевны и вправду была не вполне балетная фигура. Но, во-первых, лифчики ей шила сама Фира Бляйх, так что ничего у нее не тряслось. Во-вторых, речь никогда не шла о профессии балерины. Вита Моисеевна всегда больше любила народные танцы – так, чтоб стукнуть каблучком, подбочениться, улыбнуться публике... А то, что Вита Моисеевна была невысокая и чуть пухленькая, придавало ее танцу совершенно особое обаяние. Ольга Порфирьевна не раз повторяла: “А где, собственно, сказано, что балерина должна быть тощей и костлявой?”

Ольга Порфирьевна и сама была не худенькая – а как танцевала! И даже потом, когда вдруг в течение нескольких месяцев сильно располнела, превратилась в настоящую директрису, грузную и важную – она продолжала вести танцкласс и довольно легко показывала девочкам разные па. Причем размашистые движения ее теперь казались Вите Моисеевне еще интереснее.

Правда, те танцы, которые прежде они исполняли вдвоем, пришлось все-таки снять с репертуара. Так и не нашлось, ни в одной из четырех гимназий, достойной пары для Виты Моисеевны! Ольга Порфирьевна прямо говорила: “Ты – моя гордость! Мой бриллиант! Лучшей ученицы у меня не было и не будет!” Любовно оправляла на Вите Моисеевне пачку, укладывала вокруг головы косы, бурча с притворной досадой: “Зачем такие длинные... Ну, обрезала бы хоть до пояса! Ведь это ж какая тяжесть на голове!” Потом прибавляла к этой “тяжести” несколько цветков или лент. Сощурилась, отступала назад, звала мужа: “Ну, Александр Кузьмич, как тебе мое художественное

произведение?” А он только разводил руками... И как-то так получалось, что и Вита Моисеевна – член их семьи. От этого счастливого единства Вите Моисеевне хотелось взлететь и повиснуть в воздухе, как повисает парящая птица.

И все так замечательно получалось! Суставчики ходили, как смазанные, каждое движение доставляло мышцам радость!

Ее номером завершался любой концерт. Она же открывала гимназические балы. Выходила в центр сияющего зала под руку с Александром Кузьмичом. Красивее мужчины в городе не было! Хотя некоторые и посмеивались над тем, что он мажет бриолином свои черные волосы и пудрится. Лицо у него и без того было очень светлое, чистое. А уж таких синих глаз Вите Моисеевне больше не приходилось видеть в жизни. А какая походка! Какие изящные движения! Как он подставлял локоть Вите Моисеевне!

Вита Моисеевна была намного ниже своего взрослого кавалера, но держалась достойно и уверенно. Изящно оттягивала щепотью юбку, гордо поднимала острый подбородочек, но в лицо ему не смотрела – смотрела на большую ухоженную руку, нежно сжимающую ее мягкие пальчики... Виту Моисеевну так волновал знакомый вид этих крупных овальных ногтей! Манжеты, отглаженной до фарфорового блеска... Черной запонки с золотым инициалом “А”... И в особенности – запястья с четкими складочками и благородными жилками...

Вита Моисеевна не чувствовала себя виноватой перед любимой учительницей: та сама передавала в руки мужу свое любимое творение. И каждое движение, каждое дыхание Виты Моисеевны были издали внушены вдохновенным взглядом цыганских глаз Ольги Порфирьевны.

Тоненькая талия Виты Моисеевны как бы ускользала от руки партнера, не давая этой большой уверенной руке утвердиться и командовать. Глаза ее, не поднимаясь, успевали захватить все сразу: голубой бант на лацкане Александра Кузьмича, бежевые шторы на окнах, смутные отражения ламп, плывущие по гладкому паркету широкими кругами, удовлетворенный кивок Ольги Порфирьевны, гордые лица родителей, восхищенный взгляд Коли Лебедева – единственного из ровесников, кто мог оценить легкость и блеск ее движений. Темный, ревнивый, тормозящий взгляд Натана. Отсутствующий взгляд Мани. Завистливый взгляд Бэти...

Ах, эта Бэти! Целую жизнь прождала, чтобы все испортить! Все оплевать! “Александр Кузьмич танцевал с тобой для отвода глаз. Он просто хотел скрыть свой роман с Лизой Рабинович! Ты бы, Лера, посмотрела на свою мамочку, когда она узнала, что Александр Кузьмич с Лизой удрали вдвоем в Москву!”

И Лерка прямо-таки расцветает от удовольствия... Как же – мать унизили! А у самой на блузке вытачка справа выше, чем слева! Или это шлейки на лифчике разной длины...

Да, действительно, Вита Моисеевна очень переживала. Во-первых, за Ольгу Порфирьевну. Во-вторых, как и все евреи в городе, чувствовала свою вину, поскольку Лиза была еврейка.

Да, Вите Моисеевне и за себя было немного обидно. Будто ее и в самом деле как-то использовали. Она даже поплакала – разумеется, не при Бэте.

Неужели, вальсируя с ней, Александр Кузьмич искал глазами Лизу? Ее узенькую стройную спинку, пушистую темно-рыжую прядь, прикрывающую зеленый косящий глаз?

Вита Моисеевна не растерялась и спросила: “Бэтя! Если он для отвода глаз не танцевал с Лизой – почему он выбрал не тебя, не Катю, не Розу Штерн?” – “Потому что Ольга Порфирьевна тебя повсюду выставляла!”.

Замечательно! Значит, это все благодаря Ольге Порфирьевне! Может, это Ольга Порфирьевна послала за ней ребят из русской гимназии? Кстати, Бэтя как раз в это время была у них дома и слышала, как они говорили, что приехал кадет из Петрограда и хочет показать им настоящую мазурку, но уверен, что у них в провинции нет для него подходящей партнерши! И Вита Моисеевна просто обязана сейчас же пойти в русскую гимназию и отстоять честь своего города!

А Томас Швайцер? Может, он весь вечер танцевал с Витой Моисеевной потому, что его Ольга Порфирьевна попросила? Но ведь Бэтя помнит только то, что ей выгодно! “Какой Швайцер? Какой Швайцер?” “Тот Швайцер, дорогая подруга, к которому мы с тобой ходили в тюрьму! Пленный немец!” “Какой немец? – спрашивает Бэтя и смотрит на нее, как на сумасшедшую. – У нас немцы не стояли, у нас стояли только чехи”.

Вита Моисеевна от такой наглости чуть по столу не стукнула. Так притворяться! Действительно, чехи стояли. То ли до того, то ли после. Но при чем тут чехи? Какой бы ни был склероз у Бэти, Томаса она, конечно же, не забыла. Он был самый молоденький и красивый из всех пленных немцев. Старшеклассницы по поручению Ольги Порфирьевны носили им в тюрьму немецкие книжки, папиросы и печенье.

И этот бал Бэтя никак не могла забыть! Это ведь она придумала тогда устроить лотерею, чтобы купить для зала новые стулья! Да она тогда задрожала вся, когда Томас появился в дверях! Вита Моисеевна и сама застыла от неожиданности. Они знали о том, что пленных немцев выпустили. Но когда он вошел... Не в тюремных лохмотьях, а в своей наутюженной форме. Светленький, интеллигентный, с офицерской выправкой – и прямо к ней, к Вите Моисеевне. Она уже протянула было руку Феде Зражевскому, а Томас... так деликатно... “Простите, но я об этой минуте мечтал полгода!” А Бэтя стояла рядом и улыбалась во весь рот. Она-то думала, что на следующий танец Томас пригласит ее. А Томас танцевал только с Витой Моисеевной! Танец за танцем. Уж на что Натан был красивый мальчик – но Томас даже Натана затмевал!

Бедный Натан... Он стоял в тени, за шторой, и буквально прожигал Виту Моисеевну своим взглядом! А из другого конца зала ее преследовал другой взгляд – едкий, как кислота. Бэтин. И она еще уверяет, что не помнит Томаса! “Мы были порядочные девочки, гимназистки... Что нам было делать в тюрьме у немцев?” Да в том-то и дело, что порядочные! Именно в гимназии и учили их относиться великодушно и гуманно к военнопленным.

Ну хорошо, про Томаса она забыла. А про погром? Про то, что дом Виты Моисеевны не тронули бандиты? Все соседи видели, как один из бандитов начал ломать замок, а другой закричал: “Не трэба! Нэ чипай! Тут же цыганочка живэ!” Об этом весь город говорил.

И как же все это вывернула Бэтя, подруга дорогая, единственная в мире, у кого нет склероза?! “Да! Ты-таки плясала гопака перед Петлюрой, но дом ваш он обчистил, как следует! Я так и вижу, как твоя бабка прибежала к нам просить хоть какой-нибудь крупы! Как она, пусть ее Бог простит, поливала твоего отца за то, что не дал ей остаться в доме, и ее обобрали до нитки. Все до зернышка из дома выгребли! А у нас и часть муки осталась, и картошку вообще не тронули, хотя мне Петлюра букетов не подносил!”

Каково! Лично Петлюра пришел в дом Виты Моисеевны, чтоб забрать муку, варенье и смалец! Во-первых, пока Петлюра находился в городе, там ничего такого не было. Ну, действительно, пришли и взяли у них самовар. Им, видишь ли, только такой требовался – большой и с короной. Но ведь потом вернули! Вита Моисеевна сама его и отчистила, провозилась полдня: все он ей казался каким-то... обесчещенным... Но не для Петлюры же брали этот самовар! Тот квартировал в трехэтажном особняке Флакса, где хватало своей утвари. И если бы Петлюра в благодарность за гостеприимство не похитил у Флакса жену, о нем вспоминали бы в городе, как о человеке порядочном. Кстати, некоторые не исключали, что женщина могла бежать с ним и по доброй воле. Такие времена пошли... все вразнос! После того, как Александр Кузьмич бежал в Питер с Лизой Рабинович, а Ольга Порфирьевна спустя полгода вышла замуж за доктора Кавязина, который был моложе ее на шестнадцать лет – никто уже ничему не удивлялся. Правда, сам Флакс был уверен, что жену его убили, и после этого стал за большевиков. А когда в город вошел Чепель, за большевиков стали почти все.

До того в семье Виты Моисеевны единодушия не было. Отец большевиков не признавал, а мать уважала Ленина. Находила, что у него симпатичное лицо, почти как у Эфраима Лурье, члена городской думы и редактора газеты “Прогресс”. Кстати, это несчастное сходство и послужило причиной гибели Лурье.

Слава Богу, своими глазами Вите Моисеевне не пришлось видеть никаких ужасов. Просто однажды... Вита Моисеевна как раз занималась у станка в балетном классе. К Ольге Порфирьевне забежал преподаватель истории из русской гимназии и начал ей что-то рассказывать по секрету, в сторонке. Ольга Порфирьевна пару раз оглянулась, строго прикрикнула на Виту Моисеевну: “А ты работай, работай!” Даже издали было видно, как на большом темном ее лице волнами сменяют друг друга возмущение, решимость, тревога... И Вита Моисеевна старательно поднимала ножку в сторону – броском – вверх, следовала светлыми безмятежными глазами за изящно вытянутыми пальчиками. Будто достаточно сделать вид, что ничего не случилось – и ничего не случится.

Проходя мимо Виты Моисеевны к двери, Ольга Порфирьевна коротко бросила: “Ты сегодня домой не пойдешь, останешься у меня на ночь” “Дома будут волноваться”, – сказала Вита Моисеевна так, будто речь шла о случайно подвернувшемся развлечении. “Ничего. Лучше поволноваться напрасно, чем наоборот”.

Поздно вечером Вита Моисеевна уже лежала на широком диване в кабинете. Ольга Порфирьевна вошла и как бы между прочим сообщила, что

соседский мальчик уже сбегал к родителям Виты Моисеевны и успокоил их. Она чуть отвела штору, мрачно взгляделась в темноту за окном и ушла, решительно натягивая на груди шаль – будто это не шаль, а боевые доспехи. Вита Моисеевна слышала, как она сказала кому-то за дверь: “Сюда никто не посмеет сунуться!”.

Вите Моисеевне приходилось в этом доме пить чай, даже обедать. Но спать на диване суровой Ольги Порфирьевны, на ее пухлой подушке, под ее одеялом... Что-то было в этом такое необыкновенное, такое праздничное...

А уже через день они выезжали из города на бричке. Втроем, ибо бабка, не считаясь с Бэтиным мнением, к тому времени давно уже умерла. А будь она жива, никто не уговорил бы ее оставить без присмотра дом!

Задержавшаяся весна вдруг надумала развернуться. Теплело так быстро, что приходилось расстегивать на себе вещь за вещь. Казалось, дорога просыхает на глазах, на глазах выбивается из земли и растет трава. Над широкими кренящимися лугами поднималась, как пар, отрада, от которой хотелось плакать. Встречный ветерок принимал их в свои детские объятия.

Эта поездка напоминала что угодно, только не бегство от надвигающейся опасности. Мать сердилась, бранила то себя, то тихонько напевающего отца, то совсем уж не в меру восхищенную Виту Моисеевну. Отец утешал ее ласково, терпеливо, как он один это умел.

Потом был странный дом бондаря Мороховского. Вита Моисеевна и там чувствовала себя замечательно хорошо. Она бывала счастлива каждый раз, когда садилась за длинный, как базарный прилавок, стол вместе с красивыми и чумазыми детьми хозяев. Ей нравились их несуразные супы и каши, а хлеб с медом и крутыми яйцами она полюбила на всю жизнь.

Впервые Вите Моисеевне не хотелось возвращаться домой. И не только потому, что она ожидала увидеть свой дом опозоренным и разоренным, к чему отец осторожно готовил ее и особенно мать. Куда-то он съездил, с кем-то поговорил, и было видно, как он гордится своей вовремя проявленной решимостью. В том, как он проверял упряжь, привязывал чемоданы, усаживал жену и дочку, было такое красивое мужское спокойствие, такая убедительная светлая готовность начать все сначала, всю тяжесть принять на себя, что мать Виты Моисеевны по дороге домой выглядела благодарной и бодрой и с удовольствием откликалась на призывы отца насладиться чистотой весеннего воздуха и красотой полей. Зелень уже успела огрубеть и запылиться, солнце подолгу пряталось за тучами и как бы не успевало хорошенько раскалиться, а ветер был неприятно влажен и грозился с минуты на минуту скатать и бросить в лицо крупные нечистые капли...

И если бы не встретился им у старого польского кладбища отец Шуры Пинскера, того самого, что хотел жениться на Вите Моисеевне, когда его жена умерла от третьего инсульта – они были бы счастливы уже хотя бы оттого, что дом их уцелел, оттого, что оказались под родной крышей. Но... Он побежал им навстречу и еще издали стал рассказывать о том, как благодаря популярности Виты Моисеевны бандиты не стали сбивать замок с их дома, а сразу ушли громить канцелярский магазин Бермана.

Эту историю они успели выслушать четыре раза, пока добрались до своей улицы. Город был похож на тяжелобольного, который наскоро приделся и привел себя в порядок ради прихода гостей. Еврейские магазины по большей части были закрыты. В двух местах работали стекольщики. Кое-где вместо стекла светлела неподогнанная фанерка. Издали Вита Моисеевна увидела несколько сгоревших домов. Неулегшийся запах гари смешивался с запахом надвигающегося дождя.

Убитых уже похоронили, уже успели отсидеть по ним траур. Близких знакомых среди них не было, разве что отец Фанечки Лурье. Самый умный в городе человек – и так оплошал! Не мог, видите ли, в такое время оставить город без газеты. Уверен был, что его не тронут. Хорошо хоть семью согласился отправить в последний момент. Чуть ли не за каждым поворотом кто-нибудь останавливал их подводу и рассказывал о том, как Суламифь Лурье при всех своих детях открыла буфет и, сдернув салфетку, покрывающую что-то, лежащее на блюде, увидела отрубленную голову мужа... И это было еще не самое страшное из того, что успела выслушать за какой-нибудь час Вита Моисеевна. Но, странное дело, за всеми ужасами, которые обрушил на нее этот день, что-то теплилось... пульсировало где-то внутри, за грудной косточкой... Что-то вроде благодарной симпатии к бандитам, так высоко оценившим талант Виты Моисеевны.

Да, действительно, замка на их доме не было, тут Бэтя права. Но бандиты не имели к этому никакого отношения. Будто Бэтя не знала, что через три дня после погрома явился дедушка Виты Моисеевны с целым табором славутских евреев, бежавших от погрома тамошнего! И это уже они, славутские, открыли дом, превратили его в свинарник и уничтожили все съестные запасы! Мать Виты Моисеевны чуть в обморок не упала, когда заглянула в свою кладовку. Никакие бандиты не обобрали бы семью так скрупулезно! Да, в Бэтином доме хоть и выбили окна, и подушки распороли, но припасов не тронули. Да там и позариться-то было не на что! А матери Виты Моисеевны пришлось идти к ним, одалживать крупу и картошку на постный супчик. Согреться с дороги.

Видно, мать отвела там душу... Никогда она не была привязана к мужниной родне. Не столько раздражала ее необходимость каждый месяц отправлять в Славуту часть дохода, и так не слишком большого – сколько запросы вздорных золовок, полагававших, что без коньков и уроков сольфеджио современной девушке прожить невозможно, и вместо какой-нибудь посильной работы искавших очередные курсы.

Но у Бэти, которая все всегда знает лучше всех, мать перепуталась в голове с бабкой. Бог с тобой, ты не должна помнить, когда умерла чья-то чужая бабка! Но спорить с Витой Моисеевной, доказывать ей, что бабка была еще жива во время погрома – это уже наглость!

Вообще, послушать Бэтью, так бабка умирала раз пять, не меньше. Когда Бэте удобно – тогда и умирала.

Первый раз она “умирала” еще до того, как Вита Моисеевна выступала в роли клоуна. Хотя Вита Моисеевна помнит, как сейчас, бабку, сидящую в середине третьего ряда с белой шалью на плечах и пожирающую внучку взглядом, полным обожания. Она же и костюмчик шила вдвоем с Палашкой!

А теперь ей выгодно, чтобы бабка умерла аж после погрома! Да если бы бабка тогда была жива, славутский дед никогда бы не отважился напустить ораву бедняков в дом своей строгой свахи!

Так уж случилось, что три бабкины дочери вышли замуж за богачей, и она стала считать это нормой. И вдруг Басенька, самая младшая, самая милая, самая покладистая, достается простому приказчику, обремененному кучей паразитов-родственников. И бабка вечно ходила мрачная, надутая... Хотя и любила по-своему отца Виты Моисеевны, хотя и знала, что Басенька, единственная из четырех сестер, счастлива в замужестве и нисколько не завидует сестрам на сахарные заводы их мужей, трехэтажные особняки, рояли, ложи в театрах, парижские наряды и гувернанток.

Что же касается Виты Моисеевны, то она и вовсе не чувствовала себя хуже или беднее кого бы то ни было. Ей учительницу держали – самую лучшую в городе, Мэру Кац. И платьица у нее были из лучших варшавских магазинов. Бабка поругивала отца за такое мотовство, но, собирая Виту Моисеевну в гости к теткам, сама одевала ее во все самое нарядное, самое дорогое. Сама усаживала Виту Моисеевну в пролетку, обкладывала шелковыми подушечками. Чтоб не ударились! Чтоб не продуло!

Так что Вита Моисеевна подъезжала к трехэтажному теткинскому дому, как принцесса. И чужое богатство нисколько не подавляло ее. Она не могла оценить ни изящество симметричных лестниц, ни оттенки красного дерева, ни притворную скромность мейсенского фарфора. Двоюродные братья и сестры обожали Виту Моисеевну, восхищались ее платьями, косичками, танцами, играми, которые она придумывала. Ждали ее приезда с нетерпением, будто без нее нельзя было догадаться, что закуток под лестницей похож на пещеру, застекленный колодец – на замок Снежной королевы, а паркет в гостиной – на каток.

Конечно, Бэтя не может помнить, что после смерти бабки Виту Моисеевну на две недели отправили к тете Мириам. И не должна знать, что Мириам переехала за границу еще до Октябрьской революции. Но зачем тогда спорить? Зачем настаивать на своем? А для Виты Моисеевны все это было как будто вчера: беготня по лестницам, катание по паркету... Считалось, что Вита Моисеевна не должна знать о смерти бабки, и Вита Моисеевна охотно подыгрывала взрослым: так было проще. Но, конечно же, она все понимала.

В то утро бабка поднялась такая же, как всегда: строгая, энергичная. Стояла, упершись крепкими руками в подоконник, совала палец под корсет, требовала затянуть потуже. И, как всегда, Вите Моисеевне казалось, что у нее вот-вот лопнут толстые груди или брызнет из-под мышек. А потом Палашка набрасывала на бабушку ее юбки, как шатры, одну за другой. И тяжелые бабушкины руки с вросшим кольцом и глубокими ямами на локтях пробивались кверху сперва над шатром батистовым, белым с мелкими цветочками и прошвой, потом над красным, шелковым с голландскими кружевами, затем над

коричневым, суконным... Почему-то особенно тщательно она выбирала платочек. Долго листала альбом, где они, сложенные вчетверо, лежали аккуратно, как гербарий. Наконец она перекинула через плечо сломанное крыло своей кремовой шали и ушла с Палашкой на рынок. А уже в полдень, вернувшись из школы, Вита Моисеевна увидела сквозь щель в двери нечто, лежащее на полу, накрытое черным покрывалом.

Вита Моисеевна любила бабуку и удивлялась, почему ей не хочется плакать. Она не представляла себе, как теперь, без бабуки, будет существовать их дом. Бабука упорно всем внушала, что без нее все рухнет, что зять растрянжит ее добро, а дочка запустит ребенка, и Вита Моисеевна без бабукиного присмотра подцепит вшей, чахотку и лишай.

И вот ведь! После бабукиной смерти, если что и изменилось – то только к лучшему. Вита Моисеевна сразу заметила это, возвратившись от тетки. В доме свободнее дышалось. Букет красных маков на столе стоял как-то непривычно вольготно, и никто не спешил подобрать со скатерти упавший лепесток. А вместе с тем стало... как бы чище – хотя, казалось бы, куда уж чище! То ли что-то из вещей отправили на чердак, то ли подействовали мелкие усовершенствования, введенные матерью – но будто все как-то просветлело.

Палашка без бабушкиного соучастия перестала надрывно воевать с беспорядком, относиться к пыли и копоту так, будто это дело неслыханное, вражеские происки! Теперь она убирала с песнями, торопилась управиться к приходу отца. Отец замирал в дверях и оглядывал комнату, будто глазам своим не веря, будто дар речи потерял от такого великолепия. И, наконец, медленно, как будто приходя в чувство, разводил руками, качал головой и повторял несколько раз: “Ну-у, Пала-ашка! Ну, Пала-ашка!” И счастливая Палашка таяла, готова была снова броситься скрести и драить. Она и моложе как-то стала, и с гостями обходительнее.

Вот ей-то и достались все бабушкины платья, косынки... Мать все собрала и отдала Палашке с собой, когда та переходила к новым хозяевам. Времена изменились. Купец, на которого работал отец Виты Моисеевны, распродал по частям свое дело. Содержать прислугу родителям стало не по средствам.

Бедная Палашка сменила много мест. Она очень скучала, часто приходила в гости, говорила, что второго такого чистого, уютного дома нет в городе. С неодобрением отзывалась о чужих порядках, о том, что в некоторых еврейских домах дошли до того, что стали смешивать мясную и молочную посуду.

Перед самым погромом Палашка уехала к сестрам в деревню. Так что, слава богу, она не увидела, как обезображен и опачкан их дом. Еще больше радовалась Вита Моисеевна, что этого не видит бабука. Трудно было и представить себе, что бы она устроила, случись это все на ее глазах. Что она отвечала бы старенькому безобидному свату на его оправдания и веские доводы!

Вита Моисеевна деда Блейниса любила и все его объяснения находила убедительными. Действительно, куда было деваться этим несчастным людям?

Действительно, как можно было самому с удобствами поселиться в доме сына, а земляков оставить на улице? Да, они все съели. Но, видит Бог, этого едва хватило, чтобы не умереть с голоду! Туалет? Так что ж вы хотите – он ведь не был рассчитан на такую уйму народа! А что касается матрацев и подушек, то на них никто не лежал. Все спали на полу. На постели клали только детей, по пять-шесть человек на одну кровать – а дети, естественно, писались!

Мать тут же вытащила во двор и развесила на веревках подушки, одеяла, перины... Все это, совсем недавно перетянутое нежно-голубым шелком, было с двух сторон испещрено ржаво-желтыми, напоздающими друг на друга кругами. Она стала замывать пятна тряпкой с мыльной водой. Потом пошел дождь. Редкие, нечистые капли будто щелкали по лицу, по плечам...

Ночью Вита Моисеевна слышала, как отец утешает мать: “Ничего, Басенька! Все почистим, все исправим! Новое наживем! Что с того, что у Суламифи Лурье дом не разграбили? Бедная! Она бы все отдала, лишь бы Эфраим Семенович был жив!” – “Боже мой! Увидеть такое! Я бы, наверно, получила разрыв сердца!” – “Знаешь, лучше бы мне отрезали голову, чем быть на месте Менахема Сендеровича!” – “Подумать страшно! Такие нежные, чистые девочки! За что?!” – “А Груберты? О чем они думали?! Оставить в городе такую красавицу, такую жемчужину! Если у них не было денег, надо было просить кого-нибудь, чтобы Бэллочку забрали с собой! Я бы сам ее прихватил! Да что теперь говорить... Поздно!” – “Я бы руки на себя наложила, если бы с нами такое случилось!”

Вита Моисеевна свернулась калачиком и зажала пальцами уши. В общем-то она понимала, о чем говорят родители. Зимой в гимназии появилось несколько листков, выдранных из научной книги. Девочки передавали их друг другу. Вита Моисеевна тоже взяла эти листки домой, но дочитать до конца не смогла: буквы были мелкие, текст тяжелый, полный латинских слов. А главное – она боялась, что они попадут в руки родителям. Так что Вита Моисеевна не знала, что должно произойти с девушками, пережившими *такое*. Раньше она думала, что от этого умирают. Но выходило, что нет. Умерла только Дина Дорфман из второй русской гимназии, и то потому, что повесилась.

Вита Моисеевна думала, что на месте Дины она поступила бы так же. И одновременно ее беспокоила какая-то смутная мысль... Ревность, что ли? Будто хотелось доказать кому-то, что она красивее Дины, и Ани, и Милы... Что просто родители успели ее вовремя увезти.

Она была уверена, что никогда больше не увидит ни одной из этих девушек. Но дня через четыре столкнулась на улице с дочерью сапожника Бейлина. Роня шла с ведром, высокая, хрупкая... Шла, чуть изогнувшись, как деревце, растущее наискосок. С низко опущенной головой, такая же, как всегда. Но Вита Моисеевна растерялась и как-то слишком приветливо поздоровалась с Роней. Та подняла свои медлительные огромные глаза и посмотрела темно, без благодарности, будто существо, отныне принадлежащее другому миру.

Еще тяжелее была встреча с Аней Альпериной. Она, наоборот, как-то слишком смело и спокойно говорила с матерью Виты Моисеевны. Смотрела ей прямо в лицо, как бы внушая: “Я ничего не помню, я такая же, как всегда”. А мать старалась делать вид, что ей ничего об Ане не известно. Разговор был

пустейший, и обе они несколько раз сбивались, будто забывали, о чем говорят. Вита Моисеевна едва дождалась, пока они распрощаются. От неловкости у нее разболелись плечи. Ей казалось, этих девушек можно узнать издали, даже если ничего не знать о происшедшем.

Как-то Аня Альперина приснилась ей. Кожа на Ане лущилась и отлетала, как краска со старой куклы из папье-маше. Под кожей открывалось что-то коричневое с черными ветками плесени...

Таня и Мила Сендерович в гимназию не вернулись. Их сразу же отправили к бабке в Польшу. Для кого-то собирали по городу деньги на билет в Америку....

Как-то Ольга Порфирьевна вошла в класс на уроке немецкого и сообщила, что с завтрашнего дня начнет ходить на занятия Фаня Лурье, и ее надо поддержать. Но, разумеется, тактично. Все ожидали, что Ольга Порфирьевна уточнит, как именно Фанечку поддержать, но она, видимо, и сама не знала.

Когда Фанечка вошла в класс, все стояли, нелепо потупясь, и тарасились. А Вита Моисеевна подошла и просто обняла ее. Фаня заплакала, а за ней и все девочки. Но стало как-то легче, хотя Бэтя строила Вите Моисеевне страшные глаза и крутила пальцем у виска.

Вот тогда надо было Вите Моисеевне подружиться с Фаней и не терпеть всю жизнь гадости от Бэти, подруги дорогой! Порвать с ней раз и навсегда! А заодно и с малахольной Маней. Дура старая! Что ты сидишь и молчишь, как будто не знаешь, как все было на самом деле! Пусть эти Леркины подружки нагибаются к столу и тайком смеются! Пусть верят каждому Бэтиному слову! Наверное, представляют себе замечательную картинку: Вита Моисеевна скачет по сцене перед Петлюрой и стреляет глазками в мальчиков, и сиськи у нее трясутся! На животе – бандаж, в голове – склероз, и платье на ней из старых линялых штанов умершей бабки, и рот у нее до ушей, и щеки у нее, как булки! Видно, за все за это Петлюра и преподнес ей букет лилий! Кстати, и ты выступала перед Петлюрой, читала стихи. И очень старалась, между прочим! И на лилии эти смотрела с такой завистью, что они чуть не засохли в руках у Виты Моисеевны!

Между прочим, преподнес цветы вовсе не Петлюра, а Чепель. Таких красивых лилий Вита Моисеевна никогда больше не видела. Будто вырезаны из драгоценного белого камня. А вместе с тем живые, с прозрачными капельками, похожими на слезы. Отец так и сказал: “Это еврейские слезы!” Взял букет у Виты Моисеевны и швырнул в печь. Хотя в чем виноваты были несчастные цветы? Или выростившая их Зинаида Лукьяновна, жена Чепеля, одна из лучших в городе учительниц? Еще до всяких погромов Чепеля недолюбливали в городе и жалели его деликатную тонкую жену. Рады были, что она успела уехать до прихода красных.

К тому времени многие уехали. И не только евреи. Уехали Лебедевы. Их тоже ограбили бандиты, которым мало показалось еврейского добра. Брать-то там было нечего. Попытались уволочь рояль, но только сломали его. Сорвали очки с Марьи Ивановны: думали, оправа золотая. Сожгли зачем-то флигель. Лебедевы исчезли, ни с кем не простившись. Предполагали, что им удалось пробраться в Петроград к сыновьям. В брошенном их имении стал хозяйничать богатый мужик, купивший его за бесценок.

Прошел слух, что Сендерович увез дочерей не к бабке, а к двоюродному брату в Нью-Йорк. Тут же прошел новый слух: в Нью-Йорк уезжает и Аня Альперина. Но без родителей, одна. Сначала удивлялись, а потом решили, что так оно лучше. Пусть едет туда, где никто ничего о ней не знает. Что хорошо бы так же поступить и Ронечке Бейлиной. Каждому, конечно, ясно: Ронечка святая, как ангел. Но вот найдется ли парень, согласный на ней жениться...

К осени ни одной из этих девушек в городе не осталось. Кажется, с них и началась эпидемия отъездов. Желтые листья падали на составленные у ворот горки туго увязанного скарба, будто надеялись, что прихватят в дорогу и их.

Осенний город стоял красивый, как никогда. Было сухо, солнечно и прозрачно. Сердце надрывалось в предчувствии разлук. Уехала богатая тетка Виты Моисеевны. Поговаривали об отъезде родители Мани. Только тут Вита Моисеевна поняла, насколько дорога ей малахольная красавица-подруга. Да и неприятно было чувствовать, что ты в чем-то отстаешь от других. Не привыкла она к этому.

Отец вздыхал, как человек, упускающий свой шанс в силу сложившихся обстоятельств. Когда все уезжали в Америку в девятьсот пятом году, умирал его тесть. Теперь умирал его собственный отец. В той же комнате, на той же кровати – только хлопот с ним было куда больше, особенно у невестки, которая все не могла простить ему разоренный дом. Почему-то ей казалось: старенький свекр виноват не только в том, что скормил чужим людям полугодовые запасы круп, муки, топленого жира – но и во всем наступившем разладе.

Торговля в городе начисто развалилась. Отец перебивался мелкими заработками. Вита Моисеевна была спокойна: знала, что отец выкрутится, что-нибудь придумает. Семья их продолжала существовать сравнительно благополучно. Отец рассказывал, что многим – родителям Натана, например – впору просить милостыню. Он не то чтобы осуждал их – скорее удивлялся: “Ну нет для бухгалтера работы! Так научись чему-то другому! Что ты сел, опустил руки?! Красных ждешь? Думаешь, при красных с неба манна посыпется?”

Кончалась осень, когда однажды утром что-то шлепнуло по стеклу в ее комнате. Четверть окна закрыл огромный букет. Это были красные листья и ветки с черными гроздьями волчьей ягоды. Вита Моисеевна пошла открывать. Она знала, что это пришел прощаться Натан, которого Лиза, замужняя сестра, забирает с собою в Нью-Йорк.

Вита Моисеевна стояла на крыльце, ежась под бабкиной белой шалью, и думала о том, что глаза у него такого же цвета, как эти ягоды. И что вот он сам уезжает, а смотрит все так же пристально, с этой своей вечной укоризной...

Позднее, сидя у себя в комнате и вдыхая запах прелых листьев, она услышала, как в столовой мать говорит кому-то: “Как жаль! Такой красивый мальчик!”

Ночью, под одеялом она плакала. Сначала тихонько, почти через силу, а потом всерьез и навзрыд. Вдруг стало так обидно... То ли жаль было потерять самого верного своего поклонника. То ли она почувствовала себя беззащитной, без поддержки этого темного, твердого взгляда. А, может, она, не задумываясь

об этом, была уверена, что Натан принадлежит ей? А оказалось, что нет. Что он может жить сам по себе, ехать в поезде, плыть на пароходе, знакомиться с новыми людьми и в конце концов совсем забыть о ней...

Всем этим Леням Кринерам и Мишам Дегтярям Вита Моисеевна дала понять, что видеть их не хочет. Теперь – еще больше, чем прежде. А то обрадовались, заходили вокруг нее роем... Особенно этот... как его... которому ногу отрезали. И Эпельфельд туда же... Хорошо хоть, передник ее оставил в покое, перестал бросаться своими фитильками! Понял, видно, что такую вещь теперь уже не достанешь.

То был ее последний шелковый передник. Позднее мать очень удачно удлинит его за счет нижней пелеринки. А вот пальтишко Вита Моисеевна едва доносила до весны. Оно стало ей коротко и тесно, особенно в груди. Варшавское пальтишко! Синее, с оторочкой и большим воротником из белого каракуля. Такие же были шапочка и муфта. Из-под этой шапочки Вита Моисеевна выпускала на пальто свои длинные косы. Не девочка – картинка. Личико светлое, свежее. Оно уже не было таким циркульно круглым. Мягче стали ямочки на бледно-розовых щеках. Серые глазки уже не были так широко распахнуты. Зато потемнели, поднялись выше и красиво изогнулись на висках длинные брови. И такое просветленное, такое ясное было выражение у этих глаз и бровей, будто в них отражалось белое небо и первый, только что выпавший снег.

Снег лежал еще неглубокий, каждый шаг оставлял на нем пятно: то сырая земля, то жухлая трава. Снежинки падали редкие, почти незаметные. На перекрестке Вита Моисеевна задумалась и свернула на короткую дорогу, уговаривая себя, что на этот раз не испугается какого-то горелого дерева. И все же вздрогнула, когда оно будто выбросилось ей навстречу из-за угла.

Что-то темное шевельнулось, отделилось от ствола. Сердце у Виты Моисеевны бултыхнулось, в висках екнуло... Но она не ускорила шаг.

И он не двинулся ей навстречу. Вита Моисеевна прошла еще несколько шагов и подняла удивленно глаза. Вроде и не слышала она ни о какой телеграмме из Кракова.

– Что же это ты снова сюда вернулся?

– Потому что здесь – ты.

Они пошли рядом, будто не произошло ничего особого. Вита Моисеевна улыбалась. По-новому. Доброжелательная Бэтя называла это “самодовольной улыбочкой”. Что ж, Вита Моисеевна действительно была довольна. Так уж ей повезло с характером. Да, вокруг война, и смерть, и разлука с любимыми людьми, и погром, и вечная боязнь очередного погрома, и дом, разоренный земляками дедушки, и сам дедушка, умирающий от уремии, и мать, которая ухаживает за ним, но никак не может его простить, и новые, скудные запахи на кухне, и мечущийся в поисках заработка отец... Но... Какая-нибудь гроздь рябины, присыпанная снегом, утренний иней, ворона, дремлющая в путанице темных ветвей, – могли отвлечь ее от самой мрачной мысли и мгновенно вернуть к естественному состоянию восхищенной благодарности. И если

Бэтя и была в своей иронии отчасти права, то лишь в том, что Вита Моисеевна воспринимала окружающий мир и его красоту так, словно все это создавалось для нее лично. Как бабкины пышечки и бульон с клецками.

Она шла и одобрительно отмечала, что снег становится все гуще, что уже не портят его чернеющие следы подошв. Довольна она была и тем, что ее синее пальтишко оживляет эту замечательную картину. А также тем, что рядом с нею топает Натан.

Курточка на Натане была с чужого плеча, коротковатая. Красные уши выглядывали из-за поднятого воротника, на озябших кулаках белели костяшки. И все же он казался таким взрослым! То ли взгляд его стал немного спокойнее, то ли смягчила его победная хитреца: вот он подбил главных вздыхателей Виты Моисеевны укатить в Америку, а сам взял – да и вернулся с половины пути.

Вита Моисеевна не принимала никакого решения, но эти косточки, эти уши уже принадлежали ей. Она боялась, как бы Натан не простудился. И все же домой не торопилась. Так приятно было идти с ним через весь город! Она загибала пальчики в теплой муфточке: прикидывала, сколько должно пройти времени, пока они станут жить в одном доме... спать в одной постели, как отец с матерью...

Кстати, не так-то долго оставалось ждать. А муфточку вместе с пальтишком и шапочкой продали, когда начали готовить Вите Моисеевне приданое. Продали за гроши деревенским. Город обнищал окончательно – хотя и не так, как мелкие приграничные местечки, где люди опухали от голода и буквально вымирали от сыпняка и прочей заразы, которую нечем было лечить. Всем этим лавочникам, приказчикам, бухгалтерам, да и портным с парикмахерами в придачу жить было не на что. Если у кого после погромов и оставались какие-то сбережения, то они ушли на покупку оружия для городской самообороны.

Но об этом как раз не жалели. Дважды с помощью купленной в Литине пушечки удалось развернуть идущие на город отряды бандитов. А однажды обстреляли отряд красных. Чудом обошлось: Ленка Кац впервые с четырнадцатого года промахнулся. Бог миловал. Издали-то их не различить было. Да и вблизи тоже... Телеграфировали в Киев, выясняли, есть ли такой отряд, такой командир... Но уж какой им прием устроили, когда все разъяснилось! В банях парили, белье перестирали, перечинили!

Вита Моисеевна тоже хотела внести свою лепту, но отец не разрешил. У него к советской власти отношение было сложное. Иногда придет с работы и начнет рассказывать о собраниях, о комсомольской ячейке... и вставит вдруг, раздумчиво и с азартом: “Нет, ей-богу, так интереснее! И без хозяина как-то лучше, вольнее. Был бы я молодой, сам бы вступил в их комсомол!” А при том Вите Моисеевне иметь с ними дело запретил: “Они не компания для порядочной девочки”.

Правда это была или нет – но в городе поговаривали, будто бы девушка не вполне пролетарского происхождения, чтобы вступить в их ячейку, должна... сходить с кем-нибудь из этих босяков “на сеновал”. Натан уверял, что все эти

городские слухи – ерунда. Но и он Вите Моисеевне вступать в комсомол не советовал. Хотя сам был комсомольским секретарем в своем техникуме.

Вита Моисеевна, собственно, в эту компанию и не рвалась. Между нею и местными активистами возникла какая-то особая антипатия. Для них, голодранцев, она была дочерью домовладельца, чуть ли не богача. Ну, богач – не богач, а хорошо устроиться отец Виты Моисеевны умел в любой ситуации. Он и на сей раз не растерялся, как большинство их знакомых и соседей, не стал ждать у моря погоды. Пошел учеником на деревообрабатывающую фабрику. Работал за станком рядом с мальчишками, и ничуть его это не унижало.

Конечно же, очень скоро стал отец и в новом деле лучшим специалистом. Вот такой был человек – умел пожить! Начнет вам описывать, как приятно провести ладонью по свежеструганной доске, как аппетитно пахнет кудрявая стружка – ну хоть сейчас же все бросай и беги к этим доскам, к этим опилкам! А то, бывало, соберет в кулак бородку, посмотрит на Виту Моисеевну, прицельно сощурясь, и скажет: “Были бы у меня деньги – купил бы тебе беличью шубу! Как тебе красиво в беличьей шубе!” И под его взглядом Вита Моисеевна горделиво приосанивалась... подбородок поднимался, будто выбираясь из пушистого меха... Она и от настоящей шубы не получила бы большего удовольствия, чем от этой, невидимой!

В то время Вита Моисеевна ходила в крестьянском кожаном плаще. Но, разглядывая в зеркале свой новый облик, не впадала в уныние, не чувствовала себя обездоленной. Плащ был редкого светло-серого цвета с темно-серым мехом, аккуратно, ладненько сшитый (отец выбирал!). К нему очень шла цветастая бордовая шаль, с которой Вита Моисеевна танцевала “цыганочку”. И деревенские сапожки выглядели не как попало. Да если бы внучка Виты Моисеевны появилась на Крещатике в таком наряде, все подумали бы, что она иностранка! Или артистка! Но то были другие времена, и комсомольцы посматривали на деревенский наряд Виты Моисеевны с подчеркнутым злорадством.

Впрочем, и она им не давала спуску! Идет, бывало, мимо их “клуба”, где столько раз танцевала, где стоят стулья, купленные при ее самом активном участии – а вид делает, будто ей безразлично это здание и совершенно неинтересно, что там происходит сейчас. Зато комсомольцы не могли скрыть, как их заедает ее надменный взгляд поверх голов.

Особенно раздражало их нарядное платье, в котором она полоскала на речке белье. Вита Моисеевна никому не докладывала, что сшито оно из занавески, за которой когда-то спала Палашка. А туфли – у нее и туфли были! – сделаны из переплета конторской книги. Отец нашел ее на чердаке среди игрушек Виты Моисеевны. Какой-то непонятный материал, очень похожий на лакированную кожу. Славутский сапожник, застрявший в городе после первого погрома, сшил из него чудные туфельки. Конечно, на такую лапу, как у Бэти, материала не хватило бы. А для ножки Виты Моисеевны оказалось как раз! еще и полосочки остались. Так он их не выбросил, а накрутил на вырезанные из картона пряжки! Все ахнули, когда увидели: “Как?! Откуда такая красота?!” Обувь-то совсем не было, давно деревяшки носили. Это уже позднее начали

выпускать туфельки на картонной подошве. Неизвестно еще, что больше бесило комсомольцев: частный дом или эти туфельки! Но открыто к ней не цеплялись, поскольку каждое воскресенье приезжал из областного центра Натан, которого они воспринимали, как начальство, как “старшего товарища”, хотя он был моложе многих из них.

Как-то Натан очень быстро взрослел... И становился все красивее. Особенно когда отпустил усы. Девчонки озверели от зависти. И не только эти комсомолки костлявые, но и Бэтя, подруга дорогая. Не знала, как бы побольнее укусить: “Да-а... Тебе нельзя было бросать танцы. Толстеешь на глазах! Это у вас семейное – склонность к полноте. Но ты не огорчайся! Зато не так бросается в глаза твой длинный рот, и нос не кажется таким острым!”.

Ну?! Пускай ко рту Виты Моисеевны при строгом взгляде и можно было придраться... Но уж никак не к носу!

Вита Моисеевна уже тогда порвала бы с ней отношения, если бы не Маня, это белое извояние... Маня всегда говорила то, что думала, с полнейшим равнодушием к чувствам собеседника. Даже не догадывалась, что иногда не грех покривить душой ради того, чтобы поберечь самолюбие человека. “Нет, она не располнела... – рассуждала Маня, трезво изучая фигурку Виты Моисеевны. – Она чуть попышнее стала... руки, плечи. Парням это нравится. Хотя... за ней и без того все парни бегали...”. – “Подумаешь! – с трудом сдерживала кипение Бэтя. – Бегают, потому что она кокетничает, глазками стреляет! Недаром Натан приставил к ней сторожа!”

Сторожа! Это она Яшку имела в виду, младшего брата Натана. Никто не поручал ему сторожить Виту Моисеевну! И слонялся он за Витой Моисеевной по собственному побуждению, открыто выказывая ей свое обожание. У него действительно было поручение от брата, которое он с рвением исполнял: каждое утро тихо подбирался к окошку Виты Моисеевны и клал на подоконник цветы. То полевые, то садовые, то букет из одной травы... Он вкладывал в это больше выдумки и чувства, чем можно было ждать от четырнадцатилетнего мальчика. Вита Моисеевна оставляла окно открытым даже в прохладную погоду. Глядя на эти букетики, отец польщенно жмурился и говорил: “Нет! Лучше они живут, чем мы! Интереснее! Красивее! Мне так жаль, Басенька, что я для тебя ничего такого...” Мать клала ему руку на плечо и целовала в щеку. В последнее время они стали как-то особенно ласковы и предупредительны друг с другом. Готовились к разлуке со своей хлопотушкой. А уж ее-то как баловали! Хочешь плитусы, как у Немировских – набьем плитусы. Хочешь графин на столе – пусть стоит графин. Хочешь юбку укоротить – пожалуйста! Хочешь Горького над комодом – пусть тебе висит Горький!

Горький над комодом провисел недолго. Вите Моисеевне еще и семнадцать не исполнилось, когда в дом к ним явился отец Натана. В своем подштопанном сюртуке. Победа революции его проблем не решила, жить легче не стало, хотя, кроме Яшки, все дети уже разъехались. Отец провел старого Эльзона в гостиную, а Виту Моисеевну мягким жестом отослал на кухню, откуда, кстати, все было прекрасно слышно.

– Вы, конечно, понимаете, о чем я собираюсь говорить... – начал Эльзон.

Голос его, проходящий через изломы пространства, рокотал особо значительно.

Вите Моисеевне показалось, что она слышит, как кивнул вместо ответа отец.

– Конечно, по нынешним временам они молоденькие, и можно было бы с этим подождать... Но вы же сами знаете: она у вас девочка... живая... игривая... А наш... даже не представляю, в кого он пошел. Такой вспыльчивый! Такой ревнивый! Если мы не примем мер, это добром не кончится...

Вита Моисеевна понимала, что имеется в виду ее последняя ссора с Натаном. Она ходила к Ольге Порфирьевне посоветоваться с ее племянником-студентом, куда бы ей пойти учиться. Натан, не разобравшись, что к чему, устроил сцену, а Вита Моисеевна не стала оправдываться и сказала, что она ему не раба.

– Тем более с этим нельзя тянуть, – продолжал Эльзон, – что теперь он будет учиться в Киеве и не сможет часто приезжать. А так она тоже сможет поступить там в техникум, а потом и в институт... Сняли бы недорогую комнатку...

В том, что Вита Моисеевна должна продолжать учебу, никто не сомневался. А следовательно – уехать из города. С учебой на зубного техника дело не вышло: оказалось, что у Виты Моисеевны для этой профессии, которую избрал для нее практичный отец, недостаточно здоровое сердце. Даром только пропала ниточка бабкиного жемчуга, отданная за учебу.

Короче, свадьбу назначили на конец августа. Виту Моисеевну даже в комнату не позвали. Даже для блезиру не спросили, согласна ли она. Не потому, что никто не считался с ее мнением, а потому, что вопрос этот был давным-давно для всех решенный. Эльзон, уходя, лишь потрепал ее по щечке.

От этой будничности она чувствовала себя слегка обделенной. Не так, не так все рисовалось в ее мечтах! Помолвка, свадьба, приданое... Правда, за ужином отец – они с матерью весь этот день ходили какие-то отуманенные, печальные – разговорился, стал описывать, какие он свадебные платья видел в Варшаве. И что Вита Моисеевна совсем еще крошкой была, а он уже воображал, как будет ходить из магазина в магазин и покупать для нее самые красивые вещи. Как он подогнал бы к дому бричку, заваленную коробками и пакетами... И какой бы он накрыл стол! Вита Моисеевна слушала и чувствовала себя так... ну, не совсем так... но почти...

Свадеб в то время не устраивали. Это было так же неприлично и опасно, как отмечать религиозные праздники. Тем более не могло быть и речи о том, чтобы комсомольский вожак стоял под хупой.

Зажарили жаркое. Испекли струдель и лимонник. У матери от лучших времен оставалось немножко ванилина, но она побоялась дать его в тесто, чтобы запах не разносился по всей улице.

Гости сходились по одному в разное время, чуть ли не крадучись. Как подпольщики на конспиративную квартиру. Муньку Каца посадили у ворот сторожить. Бог знает что могли подумать посторонние!

Гуляли при завешенных окнах. Было темновато и не очень весело. Пели вполголоса, шепотом произносили тосты. Вите Моисеевне тайком от гостей

показали телеграмму из Америки: “Счастливы, что цыганочка вошла в нашу семью. Желаем семейного счастья и благополучия. Лиза, Матвей, дети”. Вита Моисеевна хотела сохранить телеграмму, но Натан велел ее сжечь сейчас же, на кухне.

Какой-то он был... нерадостный, беспокойный. Казалось бы – ну вот, ты добился своего... Что же ты снова смотришь так, как будто хочешь каждого парня насквозь просверлить глазами?!

Свою долю радости Вита Моисеевна получила главным образом от приданого. Сверх всяких ожиданий вышло оно вполне приличное по тем временам. Снова выручил чердак! Уж, кажется, давным-давно каждый уголок, каждую коробочку обыскали – и вдруг мать обнаруживает какой-то мешок, а в нем – бабкин салоп и несколько нижних юбок. Видно, сама бабка их туда и засунула. Малы стали, что ли... Или собиралась кому-то подарить... А, может, наоборот, сама привезла от богатых дочерей.

Отец говорил, что такой батист, такие кружева и в Варшаве были редкостью! Фира Кац нашла из них три комбинации, две ночные рубашки, четыре пары панталон, больше дюжины носовых платков и пару косыночек. Из шелковой юбки – она была красная, с аппликацией из черного бархата и с ажурной вышивкой – получилось такое платье, что в Киеве на улицах все оглядывались.

Вита Моисеевна к тому времени уже чуть поумнела и не стала показывать свое приданое Бэте. А так хотелось кому-нибудь показать!

Уже в Киеве, распаковывая корзину, она нарочно разворачивала каждую вещь, придирчиво разглядывала, будто боялась обнаружить на батисте моль. Озабоченно вытряхивала каждую тряпочку – так, чтобы Натан успел ее разглядеть – и уж после этого укладывала стопкой на свежую газету, которой застелила полку в хозяйкином гнилом шкафу. А Натан повторял с притворным недовольством: “Господи! Где ты набрала такое буржуйское белье! Не вздумай только сушить его во дворе: еще заявит кто-нибудь...”

Перед этим они больше недели отмывали и скоблили снятую комнатку и все, что там было. Борька Мельцер побелил потолок, остальное делали сами. Вита Моисеевна так уставала, что вечером валилась в кровать и засыпала через полминуты.

Комнатка получилась славненькая, светлая. Окно и двойная застекленная дверь выходили на широкую людную улицу. Вита Моисеевна только на картинках видела такие огромные красивые дома. Но она не чувствовала себя затерянной в большом городе. Вошла в него, как подросший ребенок входит в новое пальтишко. Лишь день-два рука робеет, проникая в шелковую нетронутость рукава...

Особенно ей нравилось, что комнатка – на первом этаже. Так было привычнее. Часть асфальта, прилегающую к ее новому жилищу, она воспринимала, как свою собственность. Как “усадебку” с древним роскошным каштаном в квадратной выбоине. Луговая трава под каштаном казалось ей чем-то вроде огородика.

Вите Моисеевне нравилось стоять в дверях, обнимая себя за локотки, и смотреть, как через ее владения вниз и вверх проходят люди, как машины

скатываются вприпрыжку по сиреневому шелковистому бульжику. Она даже стол придвинула вплотную к подоконнику, чтобы удобнее было смотреть, ей не мешало, когда люди останавливались прямо под окном и громко разговаривали. Она редко задергивала шторы: не хотела лишать прохожих удовольствия заглянуть в ее комнатку и оценить, как хорошо и ладно она все устраивает.

Главной гордостью Виты Моисеевны была кровать. На подаренные свекровью деньги она купила шелковое одеяло и две подушки с накидочками. Перину дала мать. И ковровое покрывало тоже. Бабкино. Синее с голубыми волнистыми разводами и красными цветами, разбросанными по медно-коричневой кромке. Мать же дала и кремовую скатерку, вышитую по углам гладью.

Всю эту главную красоту Вита Моисеевна выложила уже в самом конце, когда комната уже и без того выглядела уютно и вся светилась свежестью и чистотой. Перед кроватью Вита Моисеевна постелила лоскутный половичок. На гвозде, оставшемся от хозяйки, повесила портрет Горького – подарок Ольги Порфирьевны. На втором гвозде – репродукцию с картины “Грачи прилетели”, которую очень любил Натан. После чего – и это был давно обдуманый штрих – Вита Моисеевна достала со дна корзины и выставила на стол круглый стеклянный подносик, графин и три стакана! Казалось, лучше и быть не может! Но она еще сбегала на улицу – как была, прямо в тапочках – и вернулась с двумя листьями каштана, которые поставила в воду. После чего, наконец, села и уставилась на мужа в ожидании бурных проявлений восторга.

За окном гудел город. Перебивая друг друга, пели две птицы. Солнце углом освещало половину стола, щечку Виты Моисеевны, ее ручку, подпирающую подбородок. Она вдруг представила себе Хмельник, родительский дом, отца и мать, которые сидят сейчас в гостиной и говорят о ней. Странно: ей почему-то понравилось, что все это далеко, а они здесь, вдвоем среди огромного чужого города в чудном, только что свитом гнездышке...

Несомненно, Натану нравились и эта комнатка, и эта свобода. Но он не оправдывал ожиданий Виты Моисеевны и смотрел на нее исподлобья, будто своими хлопотами она норовит заговорить ему зубы.

– Вита... – сказал он, наконец. Таким тоном нестрогий отец обращается к девочке, отлынивающей от приготовления уроков. – Между прочим, мы женаты уже десять дней... А ведь ты мне еще не жена...

– То есть как это? – с удивлением, отчасти притворным, заморгала Вита Моисеевна.

– Ну-ну! Не прикидывайся! Ты все прекрасно понимаешь!

Вита Моисеевна вскочила и принялась что-то перекидывать в шкаф, чувствуя спиной, что он не меняет выражения лица. Разумеется, она все понимала. Почти все. И не то чтобы боялась или была против... Но ей нравилось это откладывать, натягивать все сильнее нитку ожидания...

– Но ведь я уже твоя! Теперь-то ты чего боишься? – прочитала Вита Моисеевна, не оглядываясь.

И услышала, что он задвигает шторы...

– Как? Среди бела дня?! – изумилась она, теперь уже совершенно искренне.

Вот это уже действительно не соответствовало ее представлениям! Она стояла растерянная среди комнаты, наблюдая за уверенными действиями Натана, и понимала, что с баловством покончено. И то, что называется “первая брачная ночь”, произойдет сейчас. Ей стало не по себе, как в приемной стоматолога. И еще было жаль билетов, купленных в кинотеатр “Ударник” на девятичасовой сеанс... Вите Моисеевне месяц назад исполнилось семнадцать, и она полагала, что от двух до девяти с предстоящим никак не управиться...

Однако не успела Вита Моисеевна принять решение, спустить ей юбку или стащить через голову, как в окно постучали. И хотя они довольно долго делали вид, что в доме никого нет, настойчивый визитер не уходил. Сквозь штору виднелась тень человека, пытающегося заглянуть в щелку. Судя по длине и худобе тени, она принадлежала Боре Мельцеру.

– Мы тут вздремнули... – мрачно пробормотал Натан, открывая дверь. Он пытался как-то сгладить нелепость ситуации, но Боря ничего не заметил. Тут же выставил бутылку вина, которую притащил, чтобы отпраздновать окончание ремонта. Натан постепенно расслабился. Ему было приятно искреннее восхищение Бори.

– Господи, – все повторял тот. – Да вы же из курятника сделали райский уголок! Смотрите, как бы теперь ваша хозяйка не повысила квартплату!

С наступлением холодов в их “гнездышке” проявилось множество недостатков. Бывало, нападавший снег не давал открыть дверь на улицу. Печь топили по два раза в день, но тепло мгновенно уходило. В общем, жить там оказалось не так уж приятно.

Всю зиму Вита Моисеевна прокашляла. К этому прибавился неудачный аборт, после которого она пролежала целый месяц. Учиться в техникуме было намного легче, чем в гимназии, но из-за болезни все время скоплялись какие-то долги. Чертежи, зачеты...

Да и Натан... Так и не прошла у него эта дурь. Следил за каждым ее шагом. Ни улыбнуться, ни с человеком поговорить. “Кто он? Почему он к тебе подошел?” – “Да никто! Просто спросил, как проехать к вокзалу...” – “Как доехать – не спрашивают с такой ухмылочкой!” Сам привел ее на вечер в институт – и вдруг надулся ни с того, ни с сего. Уцепился за какую-то дамочку и весь вечер с ней танцевал. На Виту Моисеевну и не взглянул. А в довершение всего ушел с той дамочкой! И бедненькая Вита Моисеевна сама добиралась домой. Ночью! Девочка! Буквально дрожала от страха!

Она, видите ли, “танцевала со всеми подряд”! Предупредил бы тогда, что она идет не веселиться, а стоять, как статуя, под стеной!

Довел до того, что она попала в больницу с миокардитом. Но он и после этого не подумал утихомириться, он и там свои облавы устраивал! Вдруг выскакивает из-за угла, как черт из табакерки! Всех мужчин как сдуло с лавки! Девочка с пороком сердца – тоже вскочила неизвестно зачем, губы посинели! “Мы ничего такого! – лопочет, – мы кино рассказывали!” Нет! Ему и это не

годится! “Почему именно ты должна рассказывать кино?! Почему ты всегда должна быть в центре внимания?!”

Даже в ласках его было что-то нездоровое, для Виты Моисеевны слишком обжигающее, жесткое...

И вот со всем этим Вита Моисеевна, дурочка, считала себя счастливой! Уверена была, что ей очень повезло! Недаром Бэтя, подруга дорогая, все повторяла: “Что ты так сияешь, что ты так улыбаешься? Будто ты одна-единственная на свете вышла замуж!”

И на этот раз Бэтя была, пожалуй, права. Именно так и чувствовала себя Вита Моисеевна. Да ведь оно почти так и было. Бэтя вышла замуж через три года, Маня – через четыре. Остальные девочки еще позже. И что это были за мужья... Ни любви, ни романтики. Поджимало время – вот и повыходили за кого попало! Разве можно было Борю Мельцера сравнивать с Натаном? Или Леву Свирского? Да и тех подружкам сосватала Вита Моисеевна. Сколько она ради этого вытерпела от Натана! “Они в тебя влюблены! Ты с ними кокетничаешь! Мне надоело, что в доме постоянно вертятся лишние люди! Не дом, а зал благородного собрания! Сколько наших переехало в Киев – почему все толкуются именно здесь?!”

Странно, что Вита Моисеевна не сообразила тогда, как ему ответить. Надо было сказать: “Что ты беснуешься? Ты что, не знала, из какого дома берешь жену? Или ты думал, что если я взяла твою фамилию, так сразу стала такой же нелюдимкой, как все Эльзоны? Что буду гостей принимать на пороге, как твоя мама, лишь бы никто не узнал, что у меня на обед постный суп без гущи? Может, мне еще пенсне завести и папиросу длинную?! Мой отец на пороге с людьми не разговаривал! Он мог чужого человека с улицы зазвать на субботу. Ты же сам говорил, что тебе нравится, как мы живем! А теперь тебе жалко, если люди посидят у тебя в чистоте, в уюте или даже переночуют пару раз. Для чего ж тогда было так стараться, если твою красоту, твой уют никому нельзя увидеть?”

Это уже на второй квартире было, на Елагинской. В самом центре города. А все их знакомые ютились на окраинах. И не в отдельной комнате, а в общежитии или за занавесочкой у хозяйки.

Вите Моисеевне с этой комнатой страшно повезло. Хозяйка, неряха из нерях, так запустила ее, что никак не могла найти квартирантов. Но Вита Моисеевна этой черноты и пыли не испугалась. Она сразу заметила главное – окно! Высокое, красивое, как во дворце, с широким удобным подоконником. Да еще и с видом на парк. Вита Моисеевна как увидела это ничем не заслоненное небо, эти старые деревья внизу, услышала вскрики детей, далекие и странные, как крики пролетающих птиц – сразу сказала Натану: “Я отсюда не уйду!” А он: “Четвертый этаж... без лифта... Соседи неприветливые...”

Конечно, ему неохота было снова скоблить чужую грязь. Но когда они отмыли это окно от столетней ржавчины, когда выкрасили подоконник и рамы белой краской, он сам сказал: “Да, ты права! Ради такой красоты стоило поработать!”

Вита Моисеевна подобрала в магазине мастику, которой удалось перекрыть все пятна на хозяйкином паркете. Из мебели там была только

ржавая кровать да станок от швейной машины. На этот станок они положили чертежную доску и накрыли скатертью. Кровать почистили и густо закрасили белой краской, так что и следа от клопов не осталось. Постель у Виты Моисеевны, как уже известно, была роскошная... Дорожка легла в аккурат от окна до двери. Плетеный чемодан накрыли запасными одеялами и покрывалом, спущенным со стены наподобие ковра, а три вышитые подушечки сделали это сооружение совершенно похожим на диван. Ну, и все прочее – кремовые шторы, графин на подносе, вазочка с вензелями, “Грачи”... Соседи, когда увидели, во что превратилась хозяйкина конура – ахнули. “Признайтесь честно, мы никому не расскажем: ведь вы ей никакая не племянница?” Вите Моисеевне не хотелось настаивать на таком нелестном родстве. “Слава богу! Мы так испугались, когда узнали, что она поселила в этой комнате родню! Думали – еще одну такую не выдержим!”

“Неприветливые соседи”! Да у Виты Моисеевны во всем городе не было людей, ближе, чем Люся и Муся – пока Лерка их не рассорила... Только благодаря им Вита Моисеевна окончила техникум. Куда бы она делась одна с ребенком, после того, как Натана направили в танковое училище? Никого не интересовало то, что ты уже три года проучился на архитектора и никогда не собирался становиться военным. Что у твоей жены были тяжелые роды, а ее придется оставить одну, когда тебя отправят за город на учения. Выкручивайся, Вита Моисеевна, как знаешь! Бегай с ребенком на руках – по магазинам, на экзамены.

Да, те еще были времена... Лерка голодная, орет... Сунешь ее кому-нибудь в коридоре и скорее в аудиторию, тянуть билет. Сидишь, пишешь и чувствуешь, как лифчик намокает все сильнее: вот уже и струйки молока поползли кривыми путями. Подходишь к доске, мел берешь и холодеешь от страха: вдруг подымеешь руку, а молоко на пол потечет... И еще, не дай Бог, четверку получишь! Ведь Вита Моисеевна собиралась поступать в институт!

Все были убеждены, что она должна поступать в институт. Кроме Натана. Впрочем, он прямо не говорил об этом. Так... расплывчато... “А зачем? А есть ли смысл...” Муся с Люсей, обе рыженькие, курносые – а при том совсем разные! – набрасывались на него с двух сторон: “Она такая способная! Такая красивая! А ты собираешься всю жизнь держать ее взаперти, в домохозяйках?!” Он злится – и все-таки доволен, что ее хвалят. “Как она с ребенком справится? Я военный, почти не бываю дома!” И все такое. Будто он сильно помогал ей, когда бывал дома...

По правде говоря, она и не ждала от него помощи... Вся эта хозяйственная возня была ему как-то не к лицу. Его темный прямой взгляд... твердый подбородок... решительно вылепленный лоб... тяжелые руки... Никак не вязалось оно с мытьем посуды, полосканием пеленок... Уж слишком он был мужчина. И обижало Виту Моисеевну лишь то, что он не замечал ее самоотверженности.

Другая непрерывно пилила бы мужа и всем на него жаловалась. Но Вите Моисеевне вовсе не нужно было, чтобы ее жалели. Она даже наоборот – старалась выглядеть чуть счастливее, чуть богаче, чем была на самом деле. Собирается на родину – одолжит денег, накупит обновок. У Натана пижама из

шелковистого штапеля, на Вите Моисеевне вышитая пелеринка, чтобы удобно было и прилично в любое время дать ребенку грудь. Лерка, как принцесса, в кружевном конвертике. Вита Моисеевна сама смастерила его из пары ненюшенных панталон – тех самых, что ей сшили перед свадьбой из бабкиной нижней юбки. Хорошо хоть Бэтя не знала, что и как! А то обязательно испортила бы настроение. При всех, как она умеет – с издевочкой.

И зачем, спрашивается, Вита Моисеевна таскала ее всюду за собой? Ведь это она уговорила Бэтю ехать вместе на родину! Бэтя тогда уже замужем была. Причем, только благодаря Вите Моисеевне. Сдался-таки Борька Мельцер, когда узнал, что Вита Моисеевна беременна! Даже странно: на что он надеялся? А тут уж махнул рукой и сделал Бэте предложение.

Так красиво, так приятно было идти всей компанией по родному городу! Все-таки жизнь в столице отражается и на внешности, и на манерах человека! Вита Моисеевна с гордостью ощущала в себе эту перемену, тем более что взгляды встреченных земляков подтверждали ее ощущение.

Как их встречали! Весь город шумел: “Цыганочка приехала! С дочкой!” Каждый старался подойти поздравить! “Какая девочка! Куколка! Пусть растет здоровенькая! А ты какая умница! Ничуть не располнела после родов! Фигурка – хоть сейчас на сцену!” И вот каждому – каждому! – кто так говорил, Бэтя, подруга дорогая, докладывала: “Ничего подобного! Просто она носит бандаж!”.

Вспомнила Вита Моисеевна, как она тогда терпела и молчала – и такая ее забрала досада! Оделась – и поехала на Печерск к Бэте, чтобы положить конец такой “дружбе”, высказать все, что накопело за восемьдесят лет! Даже по телефону не позвонила, потому что это было бы глупо спрашивать: “Будешь ли ты дома? Я выезжаю, чтобы порвать с тобой отношения!”

Вита Моисеевна добиралась до Бэти час и пятнадцать минут. Было время вспомнить и про бабушкины панталоны, и про коровью лепешку. И про то, как Бэтя в ее отсутствие забегала к ней на квартиру и забирала ее платья, чтобы портниха скопировала фасон, который Вита Моисеевна так долго и тщательно придумывала. Так что они с Бэтей в ответственный момент вдруг оказывались одетыми, как близнецы... Спасало положение лишь то, что на Бэте все сидело скверно: ей-то ни к чему было подчеркивать длину ног или скрадывать пышность бюста. Так что она, можно сказать, создавала Вите Моисеевне выигрышный фон. Но спускать ей все эти комплименты... Эти ее “ядовитые ямочки”, “ехидные губы”, “самодовольные губы”, “заигрывающие губы”, “провокационная улыбка”... “Ты на каждой свадьбе хочешь быть невестой! Ты со всеми мужчинами кокетничаешь! Ты кокетничаешь, даже когда одна в комнате! Ты уверена, что все мужчины в тебя влюблены!”

“Все не все, а твой муж – точно! – приготовилась сказать, наконец, правду Вита Моисеевна. – Бегал каждый день. “Вита, что мне для тебя сделать?! Я на все готов!” – “Женись на Бэте!” Ты Мусе позвони! Или Люсе! Пусть, пусть расскажут тебе, как я, дура, его уговаривала! Пусть расскажут, какой букет он притащил на вокзал, когда я уезжала в Уссурийск к Натану! Спроси у Муси, как она отчитала его на перроне при всех: “И не стыдно тебе! У тебя жена лежит в роддоме, а ты сам никак не успокоишься и не даешь покоя замужней женщине! Она Натана любит и больше никого!” Если бы я, Бэтичка, кокетничала с твоим

мужем, ты так и осталась бы старой девой! И с войны он приехал бы не к тебе, а ко мне. И зачем, собственно, спрашивать Мусю? Разве сама ты мне не сказала, когда он уже лежал при смерти: "Не надо, Вита! Не приходи к нам! Ни к чему его сейчас расстраивать!" Ну и как можно было понять такие слова?! Это одна только Лерка умудрилась выкрутить их шиворот-навыворот: тетя Бэттичка, мол, просто не хотела, чтобы больному человеку морочили голову дурацкими разговорами!"

Водитель плохо управлял трамваем. Вагон дико гроыхал и кренился из стороны в сторону, так что пассажиры валялись друг на друга, ругались и кричали водителю, что тот везет не дрова. Вита Моисеевна их возмущение не поддерживала. Весь этот лязг и грохот был настолько созвучен гневу, сотрясавшему ее, что воспринимался как поддержка, как поощрение к действию. И она старалась, старалась сохранить в себе это яростное сотрясение, когда шла по дорожке к Бэтиному дому, поднималась по лестнице, вжимала в стену кнопку звонка...

– И-ду! И-ду-у! – энергичный голос Бэти сильно опережал ее физические возможности. – Кто там?

– Я! – отрезала Вита Моисеевна и задышала еще чаще.

– Ви-и-та! – раздалось уже прямо за дверь. – Боже мой! Боже мой! Как хорошо, что ты пришла! – И слышно было, что радость мешает Бэте справиться с цепочкой и замком. – Это же надо! Я как раз испекла яблочный торт по новому рецепту!

Темнота в передней помешала ей увидеть выражение лица подруги. Она чмокнула Виту Моисеевну в щечку и продолжала восхищаться, уводя ее по длинному коридору в свою комнату.

– У меня для тебя еще что-то есть! Зеленый борщ – такой, как ты любишь. И котлетки из телятины! Я такую чудную телятину купила вчера на рынке! Я тебе звонила, между прочим, но тебя не оказалось дома. Ну скажи мне – и это не чудо, что ты пришла?!

Ну? И как тут было вклиниться в ее искренний щебет со своими давними обидами? Да и запал у Виты Моисеевны сбило. Из кухни так обезоруживающе пахло свежим бисквитом и ванилью... Вита Моисеевна решила, что сейчас любые разборки неуместны. Впрочем, зная характер Бэти, она не сомневалась, что та еще предоставит ей повод свершить задуманное.

Но с Бэтей, как назло, будто что-то приключилось, и она сама весь день была, как этот ее торт, а в довершение всего пошла провожать Виту Моисеевну до трамвая, невзирая на опухшую ногу. И на прощанье вдруг сказала:

– Какая же ты у меня красивая, Вита! Какие у тебя глаза! Ну, ничуть не изменились с молодости!

Вита Моисеевна вернулась домой с мокрым носовым платочком в кулаке.

Надо же... Заметила, наконец! Признала... И когда! Когда грудь у Виты Моисеевны как-то по-утиному выдвинулась вперед, таз ушел назад, и ноги развернуло странным углом, тоже каким-то утиным. А рот, к сожалению, действительно непонятным образом растянулся, выгнулся книзу, так что его приходилось поджимать, отчего углублялись коротенькие вертикальные морщинки на верхней губе. Получалось и впрямь ехидное выражение, которое

портило заодно и нос. При невнимательном взгляде он казался длинноватым и островатым. Присмотришься – ничего подобного: маленький аккуратный нос! Отвернешься – он тут же разрастается, сливаясь в памяти с губами в самодовольный птичий клюв, но уже не утиный, а какой-то... куропаточий.

Но глаза... Глаза были все те же, нежно-серые, просветленные, будто ранним утром смотрит она на первый снег. И веки были чистые, без мешков, без старческих темных провалов, и подбровья гладкие, ясные, как у девушки, и аккуратные брови застыли в полете... Так что тут Бэтя была совершенно права.

Ну, и оделась в тот день Вита Моисеевна замечательно удачно... Костюмчик из плотного черного шелка в мелкий белый горошек. Крахмальная кружевная манишка, сколотая черненькой брошью! Другая такая же брошь поддерживала волну на прическе.

Но известно ведь, что горбатого только могила исправит! Все забыла подруга дорогая! Забыла, как хвалила ее глаза, как восхищалась ее нарядом... И вместо того, чтобы позвонить и сказать этому садисту: “Гарик! Верни маме манишку! Ты же знаешь, что без нее нельзя надеть черный костюм, а он маме так идет!” – еще и на нее же, на Виту Моисеевну, набросилась: “Слушать тебя противно! Зачем ему твоя старая манишка?!”

Как зачем?! Назло! Чтобы сделать матери неприятность! Или взял для образца своей любовнице, которая подрабатывает вязанием.

И Маня малахольная туда же: “Это вторая история с пенсией! Смотри – доведешь ребенка до инсульта!”

До инсульта! Это он ее, Виту Моисеевну, до инсульта доведет!

Черт с ним! Ей уже не нужна правда... Пусть бы только подбросил эту манишку! Как чулки или пенсию. Пусть бы даже выставил ее на смех, как тогда! Какой подлец! При всех перевернул вверх дном всю квартиру и вытащил деньги из старого резинового ботика! Ну как они могли туда попасть?! Хоть бы место придумал правдоподобное!

Но у “тети Бэти” – “Гаричек” всегда прав. “Он зарабатывает по четыреста с лишним рублей! Он еще тебе может дать!”

Как же! Он даст... Он зефир в шоколаде купил и спрятал у себя в комнате, в книжном шкафу, чтобы мать не брала! Но Бэтью разве переговоришь! “Уже в чем-чем твоего сына можно обвинить – но только не в жадности!” Будто кто-то говорил, что он жадный. Или вор! Это же все делается, чтобы ей насолить! Для Лерки ему ничего не жалко. Для любовниц, для друзей-алкоголиков... Об Анечке и говорить нечего: для дочки он бы с себя последнюю шкуру снял! Пошел и купил пятнадцатилетней девочке золотую цепочку за двести рублей! А эта глупышка дает ее надевать своей стервозе-мамочке, с которой он сто лет назад развелся!

А все ей, Вите Моисеевне, в пику. “Чтобы ты ребенку не морочила голову своим наследством...”

И Бэтя, подруга дорогая, ту да же... “Вот умница! Вот молодец! Правильно сделал! Мне самой уже надоело слушать про твою копеечную цепочку! Хочешь отдать внучке цепочку – отдавай! Не хочешь – не надо! А ты только болтаешь

без конца и за это ждешь благодарности! У тебя же и шеи нет, чтобы носить цепочку!” “Почему я должна прямо сегодня отдать эту цепочку?! Почему мои дети, вместо того, чтобы радоваться, что мать позволила себе хоть на старости лет купить украшение, хотят у нее все забрать?!” – “А ты, – кричит Бэтя осипшим голосом, – у своей матери, которая все вложила в тебя, не забрала абажур?!”

Тут Вита Моисеевна так хлопнула телефонной трубкой, что пришлось вызывать мастера.

Нет! Ну какая подлость... И добро бы попрекнул ее другой человек, а не Бэтя! Ведь Вита Моисеевна сама же и рассказала Бэте эту историю... Именно потому и рассказала, что ее удивил каприз матери. Абажур-то принадлежал Вите Моисеевне. Его собственноручно сшила Гита Лазаревна, мать Люси и Муси. Каждый день заходила, смотрела, как Вита Моисеевна вьет свое гнездышко. Присматривалась к покрывальцам и занавесочкам, выбирала такой цвет, который подходил бы ко всем вещам. И что значит тонкий вкус! Когда однажды вечером она вошла в комнату Виты Моисеевны с огромным трехъярусным абажуром из бледно-голубого шелка с ажурными черными силуэтами хризантем по нижнему ярусу – сразу стало ясно, что именно этой вещи, этого цвета здесь и не хватало! Вдруг проявились голубые узоры на шторах. И голубой фон покрывала, плотно забитый густым орнаментом. И голубые полосочки посередине дорожки, и черные каемочки по ее краям. Все как бы потянулось одно к другому и заиграло. Вита Моисеевна давно собиралась купить абажур, знала, что эта вещь в доме решающая, но денег не было. И хорошо, что не купила: такого она нигде бы не нашла!

Впоследствии выяснилось, что Гита Лазаревна тайно подрабатывала шитьем абажуров. Не таких, конечно, попроще. Он ведь еще и с фокусом оказался: когда загоралась лампочка, в трех местах появлялись бабочки – будто слетались на свет! Гита Лазаревна клеила их между двумя слоями тонкой ткани. Человек, впервые попавший в дом Виты Моисеевны, сначала пытался их отогнать, а потом принимался щелкать выключателем, как ребенок.

Шура Лейбович всю жизнь вспоминал: “Такого уюта, как у вас на Елагинской, я нигде не видел! Особенно, когда включали свет! Этот абажур я не могу забыть!”.

И действительно – какой-то он создавал особый эффект... Комната была небольшая, но очень высокая, абажур висел низко над столом, главный свет падал на кремовую скатерть, а стены и потолок как бы растворялись в голубом сиянии и причудливых тенях, теряли свою плоскость и твердость. Казалось, вокруг тебя стоит прозрачно-голубой шатер, зависший в небе... А за окном – темнеющий сад... А в углу – детская кроватка... И сама Вита Моисеевна со своими тихо сияющими глазами, с лукавыми ямочками на детских щеках, с мягкой талией, будто любовно выведенной гончаром. Легкая игривая хлопотунья, влюбленная в свои тарелочки и кастрюльки...

Да и сам Натан с голубыми бликами на черных волнистых волосах! С густыми усами, так удачно скрадывавшими легкий его недостаток – коротковатый нос... Он вообще очень похорошел, когда стал носить военную форму! Может, оттого, что в форме чувствовал себя увереннее, чем в дешевом

штатском костюме. Вита Моисеевна каждый раз замирала от горделивой нежности, когда он поправлял привычным движением свой шелковистый чуб, падавший на густые брови.

Все им немножко завидовали. Идеальная семья... При людях-то он не демонстрировал свой вздорный характер! Ну, разве что пошутит иногда так... сомнительно... Вроде: "Маня! Ты бы переезжала скорее в Киев! Или забери своего Левку отсюда, а то как бы и мне, и тебе не остаться в холостяках. Ты учти: твой благоверный от нас не выходит! А я, между прочим, все больше в лагерях..." И сам смеется, и все вокруг смеются...

Посмотрели бы, что он ей устраивал из-за Левки! Да если бы ей нравился Левка, она бы за Левку и вышла! Глупая Маня прекрасно понимала это и в ус не дула, а умный Натан... Ну что плохого, если твой друг пришел к твоей жене поболтать, принес апельсины твоему ребенку?

Фима Юдович глазам своим не поверил, когда увидел, как этот образцовый Натан может разбушеваться. Конечно, в тот раз все слишком уж неудачно сошлось. Натана две недели не было дома, а тут приезжает Фима, к которому он ревнует больше всего. То ли из-за Фиминого высокого роста, то ли потому, что Фима после института пошел в гору, то ли еще что-нибудь... Короче, когда Фиму перевели в Москву – Натан просто ликовал. И тут Фима приезжает с докладом в Киев. Останавливается, естественно, у них. Страшно переживает, что не застал Натана. Лерку засыпает игрушками и конфетами. Покупает билеты на "Пиковую даму", которую Вита Моисеевна давно мечтала послушать.

Платье-то у Виты Моисеевны было – еще девичье. Из зеленого шифона, сильно приталенное. Юбка коротенькая, гофрированная, рукава – фонарики, глубокое декольте со сложным изящным контуром. Прелесть! Но Вита Моисеевна его не надела. В таком наряде идти в театр с чужим мужчиной, по ее мнению, было нескромно. Она пошла в жарковатом для июньского вечера темно-синем платье с белым воротничком. Его сшили к выпускным экзаменам в техникуме, но с таким расчетом, чтобы потом посещать в нем занятия в институте. Босоножки к такому платью никак не шли, а туфель у Виты Моисеевны не было. Но ради такого случая она сбегала на Сенной рынок и купила за копейки чудные "лодочки" на картонной подошве. Четыре-пять дней такие туфли нельзя было отличить от настоящих. Вита Моисеевна не могла допустить, чтобы Фима подумал: "Вот... Вышла бы за меня – не носила бы стоптанную обувь..."

И еще так удачно вышло, что буквально накануне приезда Ефима она купила, наконец, четыре шикарных стула. Деньги ей одолжила Гита Лазаревна. Так что и за комнату свою Вите Моисеевне не было стыдно.

Ну так надо же, чтобы именно в тот вечер в Киев отправили вестового! Натан попросил его заскочить домой и узнать, "что там слышно". А тот ему докладывает: "Жену вашу я не застал. Она ушла в театр с вашим знакомым, который приехал из Москвы. А за дочкой смотрит соседка!"

Когда у Лерки было воспаление легких, он не смог домой выбраться. А тут живо прилетел!

Уходя в театр, Вита Моисеевна договорилась с соседями, что переночует у них, в валике с Мусей. Фиму она собиралась уложить на кровати: на корзине он никак не уместился.

Вернулись они поздно. Спать не хотелось. Вита Моисеевна поставила чай, намазала бутерброды. Фима сидит, рассказывает ей, что у него в Москве невеста-скрипачка... И вдруг распахивается с грохотом дверь – и влетает Натан! Разве что без пистолета... А в комнате – Фима! И еще новые стулья, и Фимин чемодан, и Фимин пиджак на спинке нового стула, а на Вите Моисеевне – новые туфли! Почему-то туфли его взбесили больше всего...

Вспомнить страшно! Казалось, он своими глазами сожжет все вокруг!

Но и Фима ему выдал! Соседи потом уверяли, что получили удовольствие. “Ты что влетел, как погромщик?! Застукать нас надеялся? Ты что, – говорит, – на гулящей какой-то женился и боишься, что она возьмется за старое?! Да разве ты достоин такой жены?! Смотри, какая тебе девочка досталась! Какая умница! Как она хозяйство ведет! Какая у вас красота в доме! Может, это твоя заслуга?! Да если бы ее родители увидели тебя сейчас, они бы в ту же минуту забрали ее назад в Хмельник! Отелло задрипаный!”.

И это была чистая правда – забрали бы! Но при родителях он был образцовым мужем. А Вите Моисеевне и в голову не приходило рассказывать кому-то о своих неприятностях. Во-первых, она и не догадывалась о том, что это неприятности. Ко всем этим фокусам Натана она привыкла с детства и как-то не думала, что может быть иначе. Во-вторых, не для того она ездила к родителям, чтобы портить им настроение. Ей вовсе не хотелось быть похожей на жен Натановых братьев. Те приедут к свекрови на неделю – и всю неделю рот открывают только для того, чтобы плакаться. “Он такой! Он сякой! Держит меня взаперти, сам вечно торчит на работе, детям внимания не уделяет, жилья своего нет, денег нет...” Это у летчиков-то нет денег! И чего ты, собственно, хочешь от стариков? Чтобы они ругались с сыновьями? Вот они и ждут, когда ты уже уберешься, наконец! Со своим хмурым видом, с линялыми платьями, с детьми, остриженными налысо – будто из приюта!

А приезд Виты Моисеевны был для них праздником. Лерка с черными локонами, с огромными бантами... Песни поет! Стихи рассказывает! “Человек сказал Днепру: я стеной тебя запру!” Старики плачут от восхищения, соседи бегают смотреть.... Натан ухоженный, Вита Моисеевна цветущая...

Бэтя, подруга дорогая, старалась ее уесть: “Внимание, внимание! В нашем городе начинаются гастролы Виты Эльзон! Спешите попасть на бенефис!”

Да, гастролы! Да, бенефис! А почему не порадовать себя и людей? Или она тоже должна была сидеть надутая, как старшие невестки?

Они, кстати, тоже ехидничали по адресу Виты Моисеевны – за глаза, правда. А как прижало – завалились к ней на Елагинскую все втроем. “Вита! Спасай! Старики получили письмо из Америки! Матвей хочет их забрать к себе! Выезжай сейчас же в Хмельник! Ты у них любимая невестка! Может, ты сумеешь их отговорить! Объясни им, что наши мужья все военные, все коммунисты! Если их родители уедут за границу – считай, карьере конец! И твоего Натана тоже! Скажи им, что они не должны думать только о себе! Скажи,

что мы даже переписываться с ними не будем! Они тебя любят! Они тебя послушаются!”.

Галдели с двух сторон, в оба уха, наперебой...

Вита Моисеевна через неделю должна была выехать к Натану на Дальний Восток, но отложила все дела и поспешила в Хмельник. И не оставила Лерку в Киеве, а потащила с собой. Устроила в доме Эльзонов, как выражается подруга Бэтя, очередной “бенефис”. Локоны, банты, стишки... За три дня ни словом о деле не заикнулась! Даже не подумала их отговаривать или пугать! Так только, между прочим, спросила пару раз: “Неужели вам не жалко оставить такую внучечку?”

Они растаяли... Сами стали вздыхать. “Да, неизвестно, что там и как там в этой Америке...” Засомневались. И как бы сами передумали.

По правде сказать, лично Вита Моисеевна на месте стариков непременно бы уехала... Длинное письмо Матвея она перечитывала раз пять. Матвей писал, что дела у него пошли очень хорошо, что он купил двухэтажный домик с садиком. Что в садике стоят белые раскладные кресла. А на втором этаже для родителей приготовлена комнатка с мягкими пуфиками вместо стульев. “Мы смотрим на эти пуфики и мечтаем, как вы будете сидеть на них и пить кофе с пирожными...”

Вите Моисеевне особенно запали в душу эти пуфики. Хотя в такое голодное время естественнее было бы клюнуть на пирожные. Конечно, она не меньше других невесток боялась за мужа, но втайне ей даже хотелось, чтобы старики ее не послушались. Ну что их держало на родине? Ту же Лерку с бантами они видели не так уж часто. Сыновья с семьями мотались с места на место... Помогали, конечно, деньгами, старики не голодали – но дом их был такой холодный, запущенный... Все рассыпалось, разлезалось, пахло сыростью... Письма от сыновей приходили короткие, сухие. А Матвей, хоть и зять был, но относился к старикам куда теплее.

Только в тридцать седьмом Вита Моисеевна перестала сожалеть о пуфиках. Старик сам сказал Натану: это, мол, счастье, что Вита Моисеевна тогда отговорила их перебираться в Америку! И неизвестно, где бы сейчас были все его сыновья, если бы он таки уехал к Лизе и Матвею. На всякий случай он даже переписку с Лизой прекратил.

Но тогда Вите Моисеевне никто не поспешил сказать спасибо. Вспомнили только после войны. Но как! К месту и не к месту повторяли: “Вот! Если бы Вита не отговорила стариков уехать, они остались бы живы!” А когда Вита Моисеевна напоминала им, что люди и без всяких родителей в Америке попадали на Соловки, ей отвечали: “Какая разница, если и так все четверо погибли!”. Будто это одно и то же: быть вдовой погибшего на фронте или вдовой врага народа... Только бы сделать ей неприятно! И из-за таких-то мерзавок она взяла грех на душу... Всю жизнь думала: может, несчастные

старики проклинали ее перед смертью, когда падали в ямы, голые и униженные...

Понятно, что Вита Моисеевна избегала общества невесток. Они ведь еще и завидующие были вдобавок! Встретишься случайно в городе – обязательно сглазят! “Ой, какой у Лерочки костюмчик, ой, какие у тебя туфли!” И тут же пятно посадишь или каблук сломается!

А когда Матвей с Лизой в пятьдесят девятом приехали в Киев, эти гадюки сказали им, что не знают, где Вита Моисеевна живет, Она, мол, вообще никогда не поддерживала отношений с родней Натана и к тому же прекрасно обеспечена... Боялись, что часть подарков достанется Лерке и Гарику! В то время как Вита Моисеевна ночами дышала вонючей краской, вываривала халаты и мыла плевательницы в зубном кабинете.

Так они и уехали, не повидавшись с нею, не познакомившись с племянниками!

Вита Моисеевна ничего и не узнала бы об этом, если бы не случай. Вдруг на педагогический симпозиум приезжает американка по фамилии Эльзон. Лерка посылает ей записку – и что же? Оказывается, это младшая дочь Лизы! Вот тут-то и выяснились все козни дорогих невесточек! Их счастье, что все три успели к тому времени умереть! А то бы Вита Моисеевна им показала!

И что за судьба такая... Как стариков сбивать с толку – так она... А как подарки получать американские – так кому-то... Причем Лерка, дочка ненаглядная, еще на нее же и нападает! “Конечно! Ты же всегда выпендривалась, строила из себя бог знает что! Да если бы дядя Матвей с тетей Лизой тогда к нам попали, ты бы такую показуху устроила, что они все равно ничего бы тебе не дали!”

Да! Устроила бы! Даже если бы с голоду умирала!

Родители не учили Виту Моисеевну приbedняться. Всю жизнь вели себя, как люди состоятельные. А что у них, собственно, было даже в лучшие их времена? Глинобитный одноэтажный домик... С жильцами, которые и сами забыли, когда платили последний раз. Но финотдел не стал разбираться: назначил такой налог, что пришлось бросить дом и все, что нажили сами, все, что досталось от деда и прадеда. Мебель была старая. Что-то и с места оказалось невозможно сдвинуть. Что-то рассыпалось, как только попытались его потревожить... Короче, явились родители к Вите Моисеевне на Елагинскую, с чемоданом и двумя клумаками. Немного тряпок, немного посуды – вот и все богатство. Но в Хмельнике так навсегда и запомнили, что в доме Блейнисов было замечательно красиво и уютно, что Блейнисы были люди богатые и благородные.

Кстати, и в Киеве к ним относились так же. Когда, бывало, они выходили по воскресеньям в парк, прохаживались по аллее – мать в бабушкиной белой шали с перекинутым через плечо “крылом”, отец с тростью, с пышными усами – Вита Моисеевна смотрела на них из окошка и чуть не плакала от любви и гордости! Люди из соседних домов иногда подходили к ней, чтобы сказать: “Ну какие у вас приятные родители!” Или еще: “У вас отец, случайно, не доктор?”

Вита Моисеевна и сама считала, что отец ее мог бы стать изумительным врачом. Что-то в нем было особенное, благостно воздействующее на людей.

Никогда он не боялся жизни. Казалось бы – такие тяжелые времена! Все трясется от страха, ходят, как пришибленные. А он сядет на лавочку, пригретую солнцем – и кажется, ничего такого нет на свете: ни финотдела, ни ГПУ. Не жизнь, а сплошное удовольствие! Садится – удовольствие, встает – удовольствие, газету развернет – так вообще неожиданное блаженство! А мать всегда и во всем полагалась на отца. Смотрела на него, будто на часы в воскресный день. Спокойная, неторопливая, всегда с одинаковой тихой улыбкой, с тихим голосом.

Вита Моисеевна вообще считала бы, что мать ее – святая, если бы не та холодность, с которой она когда-то ухаживала за умирающим свекром, пусть даже и виноватым перед ней. Да еще история с абажуром... Мать, собственно, и не говорила прямо: “Вита! Мне нравится твой абажур, я хочу, чтобы ты его оставила нам”. Она говорила, что абажур слишком громоздкий и хрупкий, что его не стоит таскать с места на место, что, поскольку комната теперь закреплена официально за Натаном, не нужно ее разорять: не век же Натану служить на Дальнем Востоке! “Как только вы вернетесь в Киев, – говорила мать, – мы снимем себе подходящую комнатку где-нибудь неподалеку, а абажур так и останется на своем месте, целый и невредимый”. Но за всеми этими разумными доводами проступали страсть и упрямство, совершенно не свойственные матери.

Потому-то Вита Моисеевна и поделилась с Бэтей. Знала, что та ее поддержит. И действительно, Бэтя тогда взвилась, как ужаленная. “Что значит она не отдает тебе твой собственный абажур? Какое она имеет право?! Мало ли что ей понравился! Пусть бы радовалась, что им есть, где жить! Куда бы они сейчас делись, если бы вы не получили эту комнату?”

А теперь ее же, Виту Моисеевну, упрекнула! Да, может, если бы не Бэтина поддержка, Вита Моисеевна и оставила бы матери этот абажур!

Впрочем, вряд ли... Дело в том, что как раз перед этим Вита Моисеевна с отличием окончила техникум и могла без экзаменов поступить в любой институт. Требовалось лишь подать документы. Но об этом уже никто и не заикался. Вита Моисеевна ни разу и не подумала, что можно выбирать: муж или карьера. Конечно, муж. Но, укладывая в чемодан темно-синее платье с белым воротничком, которому не суждено было озарить институтские аудитории, она чувствовала себя княгиней Волконской. И не готова была приносить еще какие-либо жертвы.

Матери она возражала очень мягко. Дескать, не знает, по каким углам ей придется скитаться, и хочет, чтобы у ее ребенка был дом. Чтобы Лерка, просыпаясь, видела вокруг себя знакомые родные вещи...

И как же она оказалась права! Где только ни висел этот абажур, где только ни лежала эта дорожка! И в бараке, и в палатке, и даже в китайской фанзе! Бывали и приличные комнаты, иногда и вовсе шикарные.

Все они доставались Вите Моисеевне в запущенном состоянии. У нее сложился даже определенный порядок освоения этих жилищ. Сначала дезинфекция, побелка, покраска... Потом, наконец, распаковываешь все

шторки, покрывала, подушечки – и будто не уезжал никуда! Вечером зажжешь абжур... ну совсем как на Елагинской! Будто ты паришь где-то в небе, под голубым куполом! Те же разводы, те же бабочки. Оранжевая мандолина в голубой тени, полевые цветы на кремовой скатерти...

Бывало, зайдет какая-нибудь из командирских жен: “О-о! У вас красиво! У вас богато!” Да. У нас богато! А кто тебе мешает выйти за порог и сорвать пару ромашечек?! На это тоже богатство нужно?

Э-э! Да что с них взять! Жены скороспелых командиров. Сплошь безграмотные.

Полковник Потапов вызвал к себе Виту Моисеевну. “У меня к вам предложение. Вы женщина образованная, а главное – энергичная. Займитесь женами нашего комсостава. Нехорошо получается: многие даже читать не умеют. А мужья-то по службе растут! Вот уже семьи начинают разрушаться. Мы бы просто школу открыли. Но беда в том, что они стыдятся. Не хотят, чтобы кто-то знал, что они неграмотные. Вы подумайте, как бы это устроить. Поделикатнее...”

Короче, они ходили к ней заниматься тайно, в условленное время. Что-то с собой захватят: шитье или посуду какую-нибудь. Вроде пришли советоваться по хозяйству... Умора, да и только! И каждая старается пронюхать про другую! Вита Моисеевна ни одну не выдала, и они это ценили. Но дружба ни с кем не завязалась. Причем дистанцию держали как раз они, а вовсе не компанейская Вита Моисеевна.

Были в их полку и образованные, действительно интеллигентные командиры. Но у таких жены жили в больших городах. Кто из-за маленьких детей, кто из-за старых родителей, кто из-за интересной работы, кто институт кончает... Приезжали иногда. Мужья от радости не знали, куда их посадить и что с ними делать. Это только Натан считал, что так и надо, когда молодая женщина бросает все и едет за мужем в глушь, где нет ни яблочка, ни помидорчика для ребенка! Где вся твоя энергия уходит на добывание морковки или стакана молока! Зато вокруг твоей палатки бродят тигры.

У Лерки тогда как раз ухо болело, температура поднялась. Натан носил ее всю ночь на руках. Умирили от страха, думали, как дотянуть до утра, чтобы отвезти ее в город. Вдруг Лерка говорит: “К нам в окошко смотрит тигр!” Они только переглянулись: решили, что ребенок бредит. А утром выясняется – действительно, ходил по лагерю тигр. Вот так. Да Бэтя, подруга дорогая, на второй день удрала бы к родителям! И разве она стала бы топтать черт-те куда в поселок, потому что японцы отравили колодец, а привозной воды не хватает? А Вита Моисеевна ходила. Она могла ограничить себя в чем угодно, но не в мытье и не в стирке.

Кстати, с тех пор Вита Моисеевна и невзлюбила японцев. К китайцам же она относилась с большой симпатией благодаря старичку с длинной седой косичкой, у которого покупала овощи. Он всегда радовался ее приходу и всячески подчеркивал, что выделяет среди других женщин.

Вита Моисеевна действительно выделялась. К тому времени она снова отпустила волосы подлиннее и завивала их трубочками. А вместо шляпки

носила чудную тюбетеечку из серой тафты, которая очень шла к ее зеленому платью, к русым локонам и светлым глазам.

Рядом семенила Лерка. Тоже с локонами, но с черными. Глазищи круглые, яркие, как угольки. Щечки розовые, банты пышные, сама пухленькая... Стоило взглянуть на такую картинку! Китаец, завидев их издали, начинал улыбаться и кивать, как заводной.

А какая красота была вокруг! Какие деревья, какие травы! Утром выйдешь на порог, посмотришь, вдохнешь воздух... а выдохнешь уже со слезами... Выдержать нельзя – такая благодать! Лерка в беленьких трусиках за бабочкой гоняется...

Одно непонятно: почему среди такой роскоши люди должны страдать от цинги? Вите Моисеевне еще и двадцать семь не исполнилось, а у нее уже выпали четыре боковых зуба.

Это позднее она додумалась разводить огород. Одна женщина подсказала, агроном по специальности. Они познакомились в Уссурийске, лежали в больнице на соседних койках. Вита Моисеевна, напуганная своим первым, крайне неудачным абортom, очень нервничала. Но когда речь в палате зашла о цинге и овощах, которые нетрудно вырастить хоть возле дома, хоть в лесу, хоть на клумбе, она так воодушевилась, что забыла о предстоящей операции, и даже, следуя в операционную за медсестрой, не сразу отвлеклась от внезапно открывшейся перспективы круглый год посыпать Леркин суп зеленым укропом и петрушкой.

Кстати, провинциальный старенький врач сделал аборт несравнимо лучше, чем его столичный коллега. Поначалу его допотопные приемы казались излишествами, производимыми ради солидности. Но когда на следующий день в больнице появился мрачный Натан, а за ним еще и красноармеец, который должен был помочь Натану перенести Виту Моисеевну в машину, она вышла к ним бодрая, оживленная, в этом своем черном полушубочке и ботиках с белой опушкой – кадр из фильма, да и только! И в машину прекрасно уселась без посторонней помощи, с игривым высокомерием игнорируя ухаживания мужа.

Дорогой она нетерпеливо присматривалась к коричневым проплешинам земли, освобождающейся из-под слоистого, твердого, как камень, снега.

Интересно, что ни одна из командирских жен, выросших в деревне, не додумалась разбить огородик. Поддержали ее увлечение немногие, и то как бы чуть свысока, с неловкостью за собственную блажь. Кстати, и Бэтя, подруга дорогая, тоже не стала бы рыться в земле. Чем так унизиться – она бы своих детей довела до рахита!

А у Виты Моисеевны никаких комплексов не было, и она рылась на своих грядках с наслаждением и гордостью. Господи! Что это за счастье было – выдернуть из земли первую морковинку! Редиску! Вымыть и скормить Лерке!

К сожалению, эти огородики нельзя было в случае необходимости скатать, как дорожку, и уложить в кузов машины вместе с голубым абажуром, постелью, “Грачами” Саврасова, мандолиной, подушечками, вышитыми китайской гладью, графином и бумажной ширмочкой.

Ширмочку она купила на базаре у китайца. Просто так. Уж очень она подходила к абажуру. Основка бамбуковая, а на бумажных створочках – черные

узоры, вырезанные ножницами и наклеенные. Тончайшая работа, а стоила копейки. Главное – тоже хризантемы, но не с бабочками, а с цаплями.

Натан тогда был то ли в лагерях, то ли его в командировку направили – танки получать. Он в этих танках разбирался не хуже, чем цыган в лошадях. И любил их, как что-то живое. Посмотрит, бывало, с таким восхищенным доверием, похлопает по броне ладонью с прямо-таки чувственным удовольствием! Только что сахар не сунет под хобот. Вита Моисеевна даже ревновала слегка. Шутливо жаловалась другим командирам. А те улыбались с добродушной иронией. Так заядливые курильщики улыбаются, когда жена товарища просит уговорить его больше не курить. Сами пропадали на службе сверх положенного!

Да... Но их-то дома не ждала жена со стынувшим обедом! Их жены карьеру делали, пока Вита Моисеевна копалась в огороде, создавала в доме уют. Учила Лерку читать с выражением стихи, петь, танцевать, говорить по-немецки. Удовлетворяла через ребенка свое нерастраченное тщеславие.

Лерка что угодно запоминала с двух раз и была главной артисткой гарнизона. Курсантики, бывало, просили Натана: “Мы любые ваши задания будем исполнять, только приведите в воскресенье дочку рассказывать стихи”.

С танцами у Лерки клеилось не очень, и это уязвляло материнское самолюбие. Глядя, как толстуха Лерка топчет ножками по сцене, Вита Моисеевна вынуждена была сознаться себе, что при таком вложении сил и терпения любой ребенок станцевал бы лучше. А уж как станцевала бы сама Вита Моисеевна! Но об этом не могло быть и речи. Не то чтобы Натан когда-то сказал ей прямо: “Все! С танцами покончено. Не вздумай выйти на сцену! Не вздумай пуститься в пляс при людях!”. Но достаточно было взглянуть на него, когда кто-то из старых знакомых просил ее станцевать. Или когда на какой-нибудь вечеринке гармонист заводил “Цыганочку”, и чья-нибудь в меру ловкая жена выходила в круг. Натан смотрел на Виту Моисеевну с недоверчивым напряжением, будто боялся, что она выпила лишнего и сейчас сорвется, учинит постыдный дебош на радость недоброжелателям, и только его, Натана, предостерегающий взгляд не дает прорваться ее врожденному легкомыслию.

Откровенно говоря, Натан был прав. Ей так хотелось выйти в круг с растянутой за спиной шалью! Всем показать, на что она способна! Так хотелось, что возмущенное насилием тело готово было само вырваться на середину комнаты или зала! Она не представляла себе, чем бы это могло повредить мужу или унижить ее лично. Полагала, что даже наоборот. Что-то в Натане было... слишком правильное и прямое. И вместе с его холодной эльзоновской интеллигентностью, чуть отдающей высокомерием, это многих отталкивало. Она даже мечтала иногда, чтобы он как-нибудь напился, захмелел, взял бы свою застоявшуюся мандолину и рванул бы “Цыганочку” или “Коломийку”, подмигнул бы ей, посылая взглядом в круг, призывая задать всем жару... Глядишь, и не посылали бы его с места на место, туда, где потруднее да поопаснее. Только успевай, Вита Моисеевна, скоблить запущенные клоповники! делать из собачьих будок человеческое жилье!

Например, в Арсеньеве их поначалу вселили в комнату, где до того была мастерская по починке и ремонту обмундирования. От уютной гари все было

черное, особенно потолок. Вдобавок из стен в несколько рядов торчали огромные гвозди, набитые, очевидно, для вешалок. Пока они повыдирали эти гвозди, пока соскоблили гарь! Пять раз красили, а она все проступала! Но зато какие хоромы получились, когда Вита Моисеевна разместила и развесила свои вещи! А как пригодилась ширмочка, за которую Натан ее когда-то отругал и обозвал мотовкой! Вита Моисеевна отгородила ею непонятную нишу в стене – и получилась детская комнатка, так что Лерку можно было вовремя уложить спать, когда гости засиживались допоздна.

Правда, прожили они в этом раю месяца два, не больше. Пришлось съехать. Причем, так все это получилось унижительно, так подло! Вита Моисеевна вернулась из больницы (они с Леркой тяжело отравились консервами), а соседка встречает ее радостным известием: “Приходил к нам комендант с женой нового начальника штаба, комнаты смотрели. Она выбрала вашу!”. Каково? Натан как раз был в отъезде, и Вита Моисеевна попробовала сама отстаивать справедливость, напомнила про копоть и про гвозди... Но все впустую.

Впрочем, и новая комнатка была неплохая. Конечно, поменьше и без “отросточка”, но это искупалось прекрасным видом из окна. Да и мебель разместилась как-то ловчее. Особенно утешало то, что полковничиха, по словам соседней, свою комнату так и не сумела обставить со вкусом. Просто-таки перевела помещение! Сама Вита Моисеевна принципиально к ней не заходила и к себе не впускала. Когда та постучалась к ней в дверь, вышла в коридор и спросила: “Что вам у меня нужно? Посмотреть, как я устроилась на новом месте? Можете поверить на слово: у меня и тут красиво”.

Ясно, что полковничиха хотела помириться. Ей было одиноко, а у Виты Моисеевны собирались интеллигентные люди. В любом гарнизоне дом их был самым гостеприимным. В конце концов Натан притерпелся к этому, хотя и бурчал иногда, что они, мол, и без того мало бывают наедине. Что называется – с больной головы на здоровую! Сам взваливал на себя обузу за обузой. Бывало, сидят под абажуром Виты Моисеевны, пьют чай с черемуховым вареньем, ругают начальство: и танки не те закупили, и содержат их не так, и место выбрали не то, и молодежь обучают неправильно... А как пойти все прямо выложить этому самому начальству – так все заняты, один Натан свободен! Только благодаря Блюхеру его в лейтенанты не разжаловали. Но это же чистая случайность, что Блюхер оказался именно в это время на Дальнем Востоке! И пробился к нему Натан тоже по чистой случайности.

И что с того? Ну хорошо, Блюхер вмешался, в гарнизоне порядок навели. А Натана через два месяца отправили на самую границу...

И что она пережила, когда Блюхера арестовали! Ведь каждому известно было, что Блюхер – кумир Натана. И не только Натана. Все шептались: “Такого быть не может! Ну это уж – точно ошибка! Кого-кого, а Блюхера мы знаем!”. А на собрании... поливали своего кумира помоями... От старания глотки надсаживали. Слова одни и те же...

Вита Моисеевна молилась о том, чтобы Натан не сорвался, не брякнул лишнего по своему обыкновению. Еле дождалась его. Вернулся – и бросился на кровать. В шинели, в сапогах. Вита Моисеевна стояла над ним, молчала. Не

задавала вопросов. Но он повернул к ней горячее смятое лицо и процедил со злостью: “Не бойся! Я себя вел, как надо! Такой же подлец, как и все!” Будто это она, Вита Моисеевна, вынудила его на подлость!

Впрочем... Так оно и было. Вита Моисеевна чувствовала себя виноватой. Не будь ее и Лерки, Натан, наверное, сказал бы, что думал, прямо бросился бы в пропасть – и дело с концом. Тем более, что в то время ни ложь, ни подлость в конечном счете не спасали.

Это уже в ритуал какой-то превращалось: он входит в дом, черный, тяжелый, бросается на кровать – и сразу ясно: снова кого-то арестовали. “Кто?” – спросит Вита Моисеевна, а он ответит. Или нет.

Раз как-то вернулся с ночного патрулирования – совсем мертвый. Вита Моисеевна кое-как стащила с него одежду. Стала прикидывать. По каким они улицам проезжали... Ага! Мимо ГПУ... Видны ли сидящему на лошади окна первого этажа? Видны: голова всадника приходится намного выше забора. “Натан, – осторожно начала она. – Ты что-то видел?... что не надо? Через окно? За забором?” Он только кивнул и накрыл голову подушкой.

Она сама дала ему водки. Он проглотил жадно, как пьяница, а бутерброд с сыром оттолкнул.

Вита Моисеевна нянчила его, как ребенка: боялась, что он либо сопьется, как замполит, либо застрелится, как сосед-военврач.

Это произошло днем. Вита Моисеевна сидела одна дома, штопала Леркины чулочки. Было очень тихо и светло, по всей квартире ни шороха. И вдруг... Негромкий какой-то... в конце коридора – выстрел. И снова покой... Вита Моисеевна даже не вздрогнула. Так же лежали наискось через всю комнату солнечные полосы, продолжали чирикать за окном птицы. Но все уже виделось по-другому.

Вита Моисеевна накинула платок и пошла стучать по квартирам: кто откликнется.

Люди шли неохотно. Не хотели вмешиваться. Не знали, как себя вести. Боялись выказать сочувствие. На столе лежала записка. “Устал бояться и ждать”. Каждый понимал, чего бояться и ждать, но изображали недоумение и отчуждение. Лично нам, дескать, нечего бояться, некого ждать.

Вдовы, приехавшей через три дня, чурались. Никто не зашел к ней, никто не увел к себе. Вита Моисеевна тоже не решалась, пока не вернулся Натан и не раскричался: “Ты что, совсем озверела? Пойди и забери ее сюда! Там же вся комната забрызгана кровью! И ни на шаг от нее не отходи! Понимаешь?”

Вита Моисеевна тут же благодарно порхнула в коридор, проплыла мимо ряда трусливо запертых дверей, гордая благородным бесстрашием мужа. Да и своим собственным. Вдову она устроила на раскладушке за Леркиной ширмочкой и неделю ухаживала за нею, как за больной.

Но как раз из-за этой истории никаких неприятностей не было. Еще и похвалили за чуткость. Начальство решило представить самоубийство доктора как малодушный поступок, вызванный долгой разлукой с женой. К этой версии удобно подтасовывалась записка. Несчастливая женщина, которая, как и все, понимала истинный смысл записки, винила, тем не менее, себя: не решилась бросить работу и быть рядом с мужем, как Вита Моисеевна. А, главное, не

поспешила сообщить мужу о своей беременности. Семь лет она лечилась от бесплодия и хотела удостовериться, что на этот раз не ошиблась. “Он бы не сделал этого! Он бы жил!”

Вита Моисеевна гладила ее плечо и думала о том, что теперь она знает, как уберечь Натана. Ребенок! Вот что могло связать ему руки!

Конечно, Вита Моисеевна делала все для того, чтобы хотя бы дома он мог отвлечься от кошмара, царящего вокруг. Она будто держала осаду, оборонялась от жизни своими абажурами, супами и подушками. Но ничего этого он уже не замечал, не понимал, каких усилий стоит ей этот порядок, уют, налаженный быт, перелицованные свеженькие платья, радушная улыбка... Все это он давно воспринимал как должное.

И Лерка... Она не была уже для него игрушкой, источником непрерывных радостей. Широкая крепкая девятилетняя девочка с тяжелым взглядом и коротким твердым, как у отца, носом. И такая же гордая, такая же злопамятная, как отец.

Однажды он накричал на нее и слегка шлепнул, после чего Лерка стала его дичиться. Решила, что Натан любит ее меньше, чем Виту Моисеевну. Было ли так на самом деле – трудно сказать. Но ребенок не мог понять смысла всех этих мелких стычек из-за пары огурчиков, выращенных на подоконнике, из-за случайно доставшегося десятка мандаринок. “Почему все десять должен съесть ребенок?! Пусть ребенок даже девять съест! Но одну, одну ты могла бы съесть сама?!”

Вита Моисеевна отмахивалась с самодовольным упрямством, а Лерка, глупенькая, смотрела в зеркало на свое огрубевшее лицо, на широкий щербатый рот и думала, что стала очень некрасивая, и из-за этого отец теперь такой мрачный и раздражительный, из-за этого друзья отца больше не катают ее на копках-баранках, не восхищаются так шумно ее песенками и стихами, из-за этого мальчишки-четвероклассники гоняются за нею и дразнят жидовкой.

О мальчишках Вита Моисеевна узнала случайно – после того, как Лерка, загнанная ими в сугроб, утопила в снегу левый валенок и вернулась домой босая. Вита Моисеевна не стала бы рассказывать об этом мужу, но пришлось, поскольку надо было отыскать валенок. Валенок не нашелся, а Натан устроил шум на собрании: “И это пионеры! Это дети командиров Красной Армии! Где они слышали такое, если не дома?! Да в моем родном городе такого и при царском режиме не бывало!”

После скандала все только усложнилось. Вите Моисеевне стали мерещиться и холодность, и косые взгляды. Натан сердился и говорил, что это мнительность. Вите Моисеевне и самой хотелось так думать. Она старалась все списать на свою тяжелую беременность. С Леркой ее так не тошнило. И все же, и все же...

Однажды она случайно услышала совершенно недвусмысленный разговор. Вита Моисеевна стояла как раз в туалетной комнате и тщетно совала себе в рот два пальца. За стеной, под узеньким окошком, пропускавшим из кухни свет, ругала Федю Прохорова сестра, приехавшая накануне посмотреть на новорожденного Федино сына. Гостья, показавшаяся Вите Моисеевне такой приветливой, отчитывала брата за то, что тот женился на еврейке. “Я

думал, им больше доверия, им всюду ход открытый, – оправдывался Федя. – А вышло, видишь, наоборот. Если бы не ребенок – я бы бросил ее! А так – будут неприятности по партийной линии. И еще алименты...”

На этот раз Вита Моисеевна решила ничего не рассказывать мужу. Тем более жене Прохорова, которую подлая золовка называла “Софулечка”. Она даже не перестала здороваться с Федей и его двуличной сестрой – просто старалась их избегать. Такое осмотрительное поведение Виты Моисеевны могло бы окончиться трагедией, если бы не Надя, жена старшего механика, балкон которой находился как раз над балконом Прохоровых. Однажды, услышав крик ребенка, она сердито бросила на стол вышивание и сказала: “Что это он у них каждый день кричит, как резаный? И будто совсем рядом...” Надя не поленилась, ежась, выскочила на балкон и перегнулась через перила. Оказалось, что тетка в отсутствие родителей выносит младенца на мороз совершенно голенького.

Надо сказать, что на этот раз весь гарнизон был против Прохорова, хоть он и сваливал всю вину на сестру. Софья с ребенком уехала на Украину к матери, а Федю понизили в звании и отправили куда-то на Урал, отчего он только выиграл, ибо летом начались бои на Хасане...

Люди еще горя не знали, спали себе спокойно, а у Виты Моисеевны уже началась война. Но если послушать Бэтью – так Вите Моисеевне, наоборот, страшно повезло: она от немцев не убегала, она жила в свое удовольствие на командирскую зарплату! Но чего требовать от Бэти, если Лерка не лучше! Пусть она была ребенком и не понимала, каких трудов стоило беременной матери вырастить эту паршивую редисочку! Но помнит же она, как отца будили ночью по боевой тревоге! Как они обе день за днем притворялись, что совершенно за него спокойны!

Вита Моисеевна деловито двигала по комнате свой созревающий живот, перетирала, перекладывала с места на место какие-то вещи... Лерка читала за столом книжку – тоже с преувеличенным интересом. Но как мучительно было смотреть на ее детские лопатки! Что-то в них было такое... чего не выразишь и лицом. Вита Моисеевна знала, готовилась к тому, что это “что-то” вот-вот прорвется – и все же вздрогнула, страшно испугалась, когда Лерка вдруг как-то сразу, без перехода и нарастания закричала, зарыдала...

Она утешала дочку какими-то нелепыми словами, потому что никаких других придумать не могла. Младенец недобро ворочался у нее внутри, грубо ударял ногами в печень, будто укорял: “Будешь знать! Будешь знать, как рожать, чтобы поднять кому-то настроение! Как бы не пришлось покрутиться одной с двумя детьми!”

Впрочем, оказалось, что у Виты Моисеевны просто начинаются схватки. Чуть раньше времени, но это вышло даже к лучшему, ибо она таким образом отвлеклась и не в состоянии была думать ни о Хасане, ни об оставленной без присмотра Лерке.

Роды были тяжелые, долгие. И как раз в это время Натан вернулся, перепугался насмерть, обнаружив пустую квартиру, и еще три часа простоял

под родильным залом, затыкая уши и мотая головой. Он потом рассказывал, что когда няня вынесла младенца в коридор, чуть не упал: ноги подкосились от волнения... Хорошо, что сзади оказалась скамейка. Забыл о японцах, обо всем на свете. И не удивительно. Уж на что Лерка была удачным ребенком, а этот получился еще лучше – и красивее, и крупнее, а главное – как-то располагал к себе с первого взгляда.

Вита Моисеевна думала, что рождает этого ребенка для Натана, но как только увидела его, сразу поняла – нет, для себя. Натан тоже будто почувствовал сразу. Так и сказал Лерке: “Ну все, теперь мы с тобой маме не нужны, теперь у нее вот кто главный!”.

Может, оттого Лерка и стала такая, что запомнила его неудачную шутку. Впрочем, шутил ли он... С него бы случилось и к собственному ребенку приревновать.

Но ребенок был уж слишком хорош! На него-то никто не сердился, даже Лерка. Купать его, кормить, на руках подержать – все было в радость! В доме как-то светлее стало.

Правда, перемена в настроении Натана была связана не только с этим. Обстановка в армии изменилось. Появился реальный враг, реальная угроза, и некогда уже было выискивать врагов среди своих.

Натан даже похорошел в те годы! Как-то расправился, посветлел лицом. Отчасти, конечно, сыграла роль новая стрижка. Но у него и взгляд стал более открытый, вдохновенный. И жесты. Как он красиво, одним движением расправлял гимнастерку под ремнем! Сразу было видно: человек знает себе цену, знает, что он нужен.

Осенью сорок первого года, когда Вита Моисеевна ехала на Алтай по знакомой дороге, вызывавшей столько приятных воспоминаний, каждый начальник станции, с которым ей приходилось говорить, отзывался о Натане с восхищением: “Вот это мужик! Вот это орел!” Вита Моисеевна нарочно подходила к ним в надежде услышать что-то новое о муже. И получалось, что связь с ним как бы не прерывается.

Натан руководил перевозкой танков в московском направлении. Семьи военнослужащих отправили почти сразу за ними следом, подальше от японцев, вглубь страны. Половину Сибири они проехали по той же дороге, отставая суток на пять. Вита Моисеевна надеялась, что на одной из больших узловых станций военный эшелон почему-либо задержится, и она сможет повидаться с мужем. Ведь им и попрощаться по-человечески не пришлось. На станции Ступино, например, Вита Моисеевна узнала, что эшелон простоял там целых три дня. И достоял бы до ее приезда, если бы не энергия и настойчивость Натана. А ведь он еще и заболел в дороге! “Вот это человек! Вот это человек! – повторял начальник станции. – Работал за всех, а у самого температура тридцать девять и пять, я сам заставил померить! Полежит полчаса вот тут у меня на диванчике – и снова на мороз! Я ему малину из дому принес. Вот в этой баночке”.

Вита Моисеевна, естественно, огорчилась. Она с большим вниманием отнеслась к баночке, и особенно – к дивану. Оценила заботливым взглядом его выступающие пружины и впадины, и свернутое в изголовье одеяльце, будто все

это отныне имело отношение к ее собственной жизни. Она мгновенно полюбила железнодорожника, который так по-родственному принял на себя ее обязанность – лечить и призывать к здравому смыслу не умеющего болеть Натана. Железнодорожник, со своей стороны, тоже влюбился в Виту Моисеевну и был счастлив, что может ей помочь.

А вышло вот ведь как...

Именно на этой станции выяснилось, что последние вагоны, те, в которых ехали жены комсостава, отцепляют и присоединяют к поезду, идущему на Урал. Весь же состав, включая первые вагоны, куда погрузили багаж, разворачивают на Среднюю Азию. Конечно же, в такое время, в такой неразберихе начальник станции махнул бы рукой на судьбу чужого барахла. Но перед ним стояла Вита Моисеевна, выглядевшая много моложе своих лет... и все поправляла сползающий шарфик на своих кудряшках... И смотрела серыми глазами, ясными, как этот тихий снежный день.

Он понимал, как ей трудно будет на чужом месте без привычных, необходимых вещей. С двумя детьми, фотографии которых успел показать ему мировой мужик, черный и горячий, как цыган – такой заводной, что даже жар его казался не следствием болезни, а свойством натуры. Как же было не помочь его жене!

Оставив дела куда более важные, начальник станции собрал людей и распечатал багажный вагон. Выгрузку начали с вещей Виты Моисеевны. Привычные к переездам, но на этот раз не слишком ловко увязанные, они не вызвали должного понимания у местных парней, намажавшихся за ночь с ящиками снарядов и разбуженных на рассвете, чтобы разгружать какой-то непонятный пестрый хлам. И цапля Виты Моисеевны летела вниз головой на ранний неупомянутый снег между рельсами, на чернеющие шпалы, на оранжевую мандолину, привязанную к баулу, на голубой абажур с силуэтами хризантем.

Вита Моисеевна издали смотрела за разгрузкой, и собственные вещи казались ей такими странными, как декорации какого-то гимназического спектакля. Вещи как бы ей и не принадлежали, а вместе с тем она вздрагивала от каждого толчка или удара, как будто это ее толкнули, ее ударили, небрежно отодвинули в сторону... Этот странный разлад не давал ей собраться с мыслями, она стояла отуманенная.

Впрочем, даже если бы Вита Моисеевна была внимательна и сразу заметила появившийся на горизонте поезд, она ничего не смогла бы предпринять. Слишком быстро он надвигался, и не ясно, по какой колее, так что некуда было оттащить вещи – разве что кидать обратно в вагон... Вита Моисеевна увидела, как брызнули прочь темные мужские фигуры. И тут же черная машина мгновенным толчком сгребла ее хрупкие сокровища и двинула ей навстречу, будто намереваясь поскорее вручить хозяйке, но по неумелости затягивая под себя и на глазах размалывая, превращая в щепки и лоскуты. И лишь уцелевший абажур несясь, приветственно голубея, как ослепительный цветок, и она бросилась бы к этому цветку, если бы он, приближаясь, не начал вдруг быстро, будто живой, будто по собственной воле, корчиться и рваться. Она видела, как расплетаются его голубые шнуры, как наматываются они

вокруг колес вместе с полосами малинового шелка, клочьями ваты, кремовыми лентами, в которые превращалась бабушкина скатерть. Все это несло со страшной скоростью, а вместе с тем она успевала узнать каждый клочок. И точно так же в ее сознании проносились, сматываясь, сворачиваясь в жгуты, несколько не связанных друг с другом мыслей. “За то, что пожалела отдать маме абажур!” И что вот она – Анна Каренина, и ее толкнуло в грудь, и поволокло за спину, развозя по дороге изувеченное тело...

И еще... за какую-то секунду она успела увидеть всю свою будущую жизнь, без украшений и мелочей, которые всегда были для нее так важны. Увидела черную сумку, в которую кладет очередное нераспечатанное письмо... свои ноги, ушедшие в глубокий снег... раннее утро, похожее на густеющую ночь... бесприютный свет в окнах госпиталя... метровые кипы бумаг, разграфленных и заполненных ее рукою... старенького отца на носилках, от голодного отека похожего на китайца и утратившего свой дар внушать окружающим надежду и покой... Лерку, читающую под баян стихи раненым, в туфлях Виты Моисеевны, в детском платьице, выдающем себя за блузку... Темные ели, будто уснувшие стоя, с пугающими коричневыми струпами между ветвей... тяжелый топор, тупую пилу, оглобли саней под мышками, усталое от долгого ожидания детское личико в окне... прижатые к стеклу ладошки, как две светлые звездочки на фоне мрачной темноты чужого неприветливого жилья... Разрушенный город... развалины ее дома, оскаленные, как череп... сырой подвал с китайскими узорами плесени на стенах... чемодан и два узла в углу комнаты, горку картошки – в другом... Корявые ящики с десятками петухов из папье-маше, размалеванных вонючей, плохо сохнувшей краской... коврики с Красной Шапочкой и волком, такие же вонючие, которые вдобавок надо прятать от финотдела... скрытую панику в глазах матери: неужели отца задержали на рынке с чертовыми Красными Шапочками?! Добывание сухой штукатурки, добывание смолы, добывание досок для сгнивших ступеней, война с крысами, война с тараканами, плевательницы в зубо врачебном кабинете, ведра с хлорамином, грязные медицинские халаты, булькающие в выварке над двумя примусами... Собираение денег Лерке на школьную форму, Гарику на пальто, отцу на ботинки... бегодня по начальству: “Позвольте мне взять две ставки! У меня на иждивении двое детей и двое стариков! У меня большой опыт работы с медицинской статистикой”. “Я требую, чтобы мне показали ее письменную работу! Девочка – медалистка, она не могла написать сочинение на тройку!” “Разве можно наказывать мальчика за то, что он ногу сломал!”. “Да! Все родители ходят, все просят! Но они просят за двоечников, а я прошу за отличника! Он у вас будет любимым студентом – помянете мое слово!” “Мы живем впятером в тесном подвале! Без воды, без канализации, без дневного света!” Видела, как отца, исхудавшего до костей, рвет в углу над помойным ведром. Видела мать, прозрачную, как тающая на солнце льдинка, и врача, отводящего взгляд: “Не надо тратиться... ей уже ничем не помочь...” Видела Гарика, играющего что-то заводное на соседском пианино – через день после бабушкиных похорон. Видела Лерку, волокущую здоровенный чемодан за своим лысым, геморройным мужем, и Леркину романтическую свекровь, повисшую на локте сына, выкрикивающую на весь вокзал правила ухода за

своим сокровищем... Видела Леркины уродливые платья, и как она толстеет, как орет на мужа, на дочку, на Виту Моисеевну... Видела жену Гарика, негромким и чуть ленивым голоском посылающую Виту Моисеевну туда, куда и спившийся хулиган постеснялся бы... Шмыгающих в комнату Гарика незнакомых женщин... Видела даже, как Гарик бьет ее веником по руке, выбивает ногой стекло в ее двери, а Маня, Бэтя и еще какая-то незнакомая, черная, с папиросой – не только не защищают ее, а еще и нападают и требуют оставить “ребенка” в покое, а “ребенок” сует ей в нос какую-то непонятную зеленую бумажку...

Она видела, как убегает в ужасе из красивого богатого города, сияющего чистотой и ослепительной роскошью весны, и не понимала, почему вокзал так непривычно пуст и почему пустота эта пугает больше, чем гам и толчея времен войны. Почему она жует хлеб, давась от страха, и испуганно бросает на землю сорванный цветок, оглядывая свою руку так, будто на ней могут оказаться ожоги. Видела, как молодой мужчина в странной форме велит ей показать, что у нее лежит в карманах плаща...

Да. Многого не поняла Вита Моисеевна за те несколько секунд, пока поезд толкал ей навстречу лохмотья и плевал по сторонам щепками. Но поняла достаточно для того, чтобы упасть без сознания.

В себя она пришла уже в пути. На своей полке. С узлом под головой. Над ней стояла Лерка и повторяла севшим, сорванным голоском: “Мамусенька! Мамусенька!” Поискав глазами, она обнаружила на соседней полке Гарика. С чужим нетронутым пряником в руке. Было видно, что он давно уже держит этот пряник... что он плакал, но уже просох и даже всхлипывать перестал.

Вокруг Виты Моисеевны хлопотали попутчицы. В их старании просматривалась заметная доля благодарности и вины. Из отдельных замечаний Вита Моисеевна сделала вывод, что трагическая судьба постигла исключительно ее багаж. Все же остальные вещи спокойно ехали в соседнем вагоне.

Вита Моисеевна чувствовала себя странно. Легкой – и покалеченной, будто на той станции осталась часть ее тела. Она пошевелилась и ко всеобщей радости села. Посмотрела в окно. Посмотрела на свои руки. На разутые ноги. Хотела сказать что-то ободряющее Лерке и вдруг обнаружила, что у нее пропал голос. Несколько раз она открывала рот, напрягала язык и горло, но ее тихого шипения никто не разбирал. От этого шипения закричала, заскулила Лерка, а за нею Гарик. У Виты Моисеевны не было сил их утешать.

Голос вернулся к ней вскоре после прибытия в Бийск. Виту Моисеевну с детьми не стали селить в общежитии, а сразу выделили комнатку в домике, который неуверенно стоял на высоком берегу реки, окруженный мрачными елями. Хмурая хозяйка не очень-то обрадовалась квартирантке и все старалась объясняться с ней знаками, как с глухонемой.

Комнатка была небольшая, с узкой кроватью и самодельным столом, сухая и достаточно теплая. Усталая Вита Моисеевна уложила детей валетом, а для себя на первый случай соорудила в углу лежанку из сена. Стол она накрыла куском пляжной подстилки, в которую были увязаны детская постель и кое-что из одежды.

Она долго не могла уснуть. Наброшенное вместо одеяла пальто не накрывало ноги. Мешали чужие запахи, грызла досада. Ну что бы ей вместо этой тряпки взять кремовую скатерть! Или бабушкино покрывало! И зачем было все подушки увязывать с посудой? Если бы хоть две диванные подушечки прихватила – у детей была бы совершенно нормальная постель! И много чего еще, в том же роде...

О немоте своей она не беспокоилась: чувствовала, что напасть эта – временная.

Постепенно мысли ее начинали приобретать более благоприятный оборот. Вита Моисеевна прикинула, что если к чемодану приставить скамеечку, которую она заметила в хозяйском коридоре, получится удобная лежанка для Гарика... А еще...

Тот сон был как бы продолжением этих мыслей. Он начался без всякого перехода. Только свет снова горел, а на сеннике вместо ее пальто лежала стопкой наглаженная постель. Вита Моисеевна принялась расстилать простыню, не получая, правда, обычного удовольствия от свежей белизны и крахмального хруста. Ей было неловко нагибаться к сеннику под пристальным взглядом, который она чувствовала спиной. Выжидающий, вопросительный взгляд. Удивляло ее не внезапное появление гостя, а именно осязаемая тяжесть его взгляда – при том, что головы, а, следовательно, и глаз у него не было. Это было дерево. То самое, накренившееся дерево, стоявшее когда-то на перекрестке дороги... мимо которого она в детстве боялась проходить одна... похожее на бегущего с поднятыми руками человека. Застегивая пододеяльник и вспоминая тот детский страх, она снисходительно улыбалась. Теперь-то она знала, что голова не запрокинута, а действительно отсутствует – но дело это вполне обыкновенное. Не смущал больше и тот самый сук... Чего там... Впрочем, его и видно не было, поскольку гость сидел за столом. Одна из его ветвей устало упиралась локтем в столешницу, другая лежала на колене. Вита Моисеевна не помнила, когда налила ему чай. Должно быть, давно, поскольку пар над чашкой уже не поднимался. Он выпил едва ли половину. Ясно было, что усталому гостю Виты Моисеевны нужно лишь одно – лечь поскорее на ее сенник, вытянуть свое угольное тело на белой простыне.

Вита Моисеевна стелила старательно, как маленькая девочка, которая знает, что за ее движениями следят. С сердитой ловкостью взбивала подушку. Откуда-то взялась подушка... И сенник неизвестно когда превратился в кровать. Вита Моисеевна знала, что обязана лечь... Она легла лицом к стене и со страхом слушала, как гость со скрипом поднимается из-за стола... ходит по комнате... отворачивает угол одеяла. Она знала, что сухая горелая ветвь уже тянется к ее плечу, чтобы повернуть к себе, навстречу корявому острому суку, и ждала этого прикосновения с ужасом и нетерпением.

Быстро, будто рассыпавшаяся колода карт, мелькнули перед нею все эти мальчики и мужчины, к которым Натан ревновал ее без всяких к тому оснований. Красивые, обаятельные! С ними она привычно поигрывала, ни на секунду не теряя головы... Неужели же сейчас... это безмолвное обгорелое чудовище...

И Вита Моисеевна проснулась. Она села на своем незастеленном сеннике и отерла рукой лоб, как человек, избежавший позорного падения. Странное, никогда прежде не испытанное напряжение неохотно отпускало ее плоть, и чувство вины тоже не отпускало. Но Вита Моисеевна поспешила перелить его в другое русло: “Ну вот. Я даже во сне не могу ему изменить! А он всю мою жизнь отравил ревностью и скандалами! Разогнал лучших друзей! И с чего, спрашивается?!”

Ей даже как-то обидно стало, что, в сущности, на ее добродетель никто и не покушался, кроме майора медицинской службы под Уссурийском. Мужлан! Решил, что раз женщина согласилась покататься с ним на лодке – можно ночью тарбанить к ней в окно! Впрочем, Натану и этой лодки было бы достаточно...

Вита Моисеевна лежала в темноте и по звукам и запахам незнакомого места пыталась сообразить, не настало ли уже утро. Она не знала, что это за скрип над головой: то ли кто-то ходит по чердаку, то ли ветер тревожит сношенную кровлю. Пахло долго пустовавшим жильем, старым сеном. Детьми Виты Моисеевны. Стоящими у ее изголовья непросохшими валеночками.

Непобедимая сила привычки будоражила фантазию Виты Моисеевны. Заставляла ее мысленно осваивать новое пристанище... Живая, как кино, фантазия быстро заполняла чужое неприветливое пространство погибшими вещами. Медленно взмыл на свое место абажур, мгновенно все насквозь заливая голубым сиянием. Над черными силуэтами хризантем развернула крылья цапля, затеплился в темном углу оранжевый бок мандолины, сощурил слезящийся глаз Горький – левее саврасовской весны, так похожей на весну в их родном городе.

Но и здравый смысл оказался начеку, не дал Вите Моисеевне расслабиться. Заставил скрупулезно подсчитать, с чем же, все-таки, она начинает новую жизнь.

Едва дождавшись первых признаков утра, Вита Моисеевна тихонько оделась и вышла на улицу. Осмотрев ближние ели, она выбрала самую красивую ветку, и стала отламывать ее обеими руками. Ветка медлительно колыхалась, как бы независимо, по собственному усмотрению – пока не хрустнула. Отряхнув с ветки снег, Вита Моисеевна повертела ее так и эдак. Улыбнулась самодовольно, прикинув, как проснутся дети, вдохнут праздничный запах хвои, увидят зеленую лапу с тремя шишками в высокой бутылке, посреди стола, накрытого пляжной подстилочкой.

Разумеется, эту тряпочку, прежде чем накрыть ею стол, следовало бы выстирать: где она только не валялась! Но на этот раз Вита Моисеевна решила пожертвовать гигиеной. Вокруг бутылки она расставила тарелки и чашки: две красненькие и синюю, подарок Любы Савиной. И в каждую чашку поставила ложечку. Чайник, термос и остаток продуктов красиво разложила на подоконнике. Хозяйкину табуретку задвинула в угол под окном и застелила желтой глянцевой бумажкой, которой было выстлано дно чемодана. Сам же чемодан пристроила сбоку, так что получилось что-то вроде парты. На эту парту Вита Моисеевна положила тетрадку, в которой Гарик рисовал свои “карляки”, и коробку с остатками карандашей. Леркины учебники Вита Моисеевна составила аккуратной стопкой на углу стола...

Ну, пусть Гарик был маленький, пусть он ничего не понимал... Но Лерка-то все понимала! Как она осматривалась в этой комнате, когда проснулась! Как она бросилась благодарно на шею Вите Моисеевне, без слов обняла... А Вита Моисеевна почему-то знала уже, что голос вернулся к ней, но не спешила заговорить – так хорошо было стоять, молча прижимаясь друг к другу, чуть покачиваясь, жалея и утешая...

А потом эта Лерка сидит за столом и при всех гостях смешивает мать с грязью! “Что ты такого особого для нас сделала, чего не делала любая мать?! Ты всю жизнь нам в душу лезла!”

И это Лерка говорит, которая ночью разбудила весь лагерь своим плачем: “Отправьте меня домой! У меня дома что-то случилось! Что-то случилось с мамочкой моей!”

А Вита Моисеевна действительно чуть не умерла в ту ночь: заразилась корью от Гарика. А теперь вот Гарик сидит и слушает, как сестра поносит его мать. И молчит.

Нет! Он не вставит свое слово! Он не покажет при людях, кто он есть! Но Вита Моисеевна хорошо знает эту его тайную улыбочку под усами. Знает, как этот интеллигент может послать матом! Высадит вам стекло в двери, и еще сам же бросится пить валерьянку и жаловаться по телефону: “Она совсем с ума спятила! Поставила на своей двери замок! Я не могу, не могу больше терпеть!”

Это он не может! А она может терпеть, когда он роется в ее вещах, стоит ей на минуту выйти за хлебом?! То ему свитер понравится, то чулки, то ложечки чайные! И еще нагло уверяет, что ложечки она подарила на юбилей жене Нонкиного сына! С какой стати?! За какие заслуги она отдала бы такой... проститутке мельхиоровые ложечки?!

Но главное – документы! До чего дошел... Похитил у нее извещение о гибели отца! И не просто из вредности, а чтобы лишить ее льгот! Услышал, что приняли решение приравнять вдов к ветеранам войны, выдавать им продуктовые пайки. Вита Моисеевна прочла в газете это постановление и даже заплакала от радости! Каждый месяц – две курицы по государственной цене! Она забыла уже, когда в последний раз ела курицу! Полезла в ящик. Паспорт, брачное свидетельство, табеля, фотографии, грамоты – все на месте. А похоронки нет! Она чуть с ума не сошла! А этот подлец возвращается с работы, слышит, как она кричит, как она убивается, как просит Бэтью сейчас же приехать – и молчит! Снимает себе спокойно пальто, снимает туфли, переодевается в спортивный костюм, идет вразвалочку к книжному шкафу, открывает папочку, достает оттуда похоронку, две копии и говорит: “Вот тебе копии, а извещение повсюду не таскай. Потеряешь еще! А это память”. Но Бэтя, подруга дорогая, как всегда, на его стороне. “Другой бы на его месте не дверь бы разбил, а...” И что бы он разбил? Что? Может, голову матери?!

И, главное, все оказалось впустую. Отсидела в военкомате два с половиной часа, а ей сказали, что решение-то принято, но в силу оно вступает только с нового года. И никакие уговоры на них не подействовали. Конечно! Как на Хасан ехать – так Вита Моисеевна, как мальчиков покалеченных,

окровавленных на носилках таскать и внушать им оптимизм, которого у тебя у самой нету, и отправлять казенные извещения их родителям и женам... И дрова на себе возить – Вита Моисеевна. И два месяца получать письма от погибшего мужа – Вита Моисеевна! А как курицу по рублю девяносто – так дамочкам, которые всю жизнь бегали от парикмахера к маникюрше!

Хуже всего то, что она успела похвастаться Лерке и пообещать ей грудку и печеночку для ребенка! А Лерка, мерзавка, прекрасно зная, как все было, никогда не упустит случая попрекнуть ее этой курицей. Неужели, имея четыре зарплаты, нельзя себе позволить купить ребенку курицу на базаре?! Нет! Им только ветеранская нужна! И еще даром! Другие дети сказали бы: “Спасибо, мама, не надо. Ты заслужила сама съесть эту грудку и печеночку!” А эти просто не знают, как тебя побольнее ужалить! С одной стороны, подавай им курицу, а с другой – “Ты всю жизнь спекулируешь на памяти отца! Лезешь повсюду с этой бумажкой!” Каково?!

Это все эльзоновские гены... Натан сам говорил, что люди у них в роду жесткие. Но чтоб такое... Да, она бегала с этой бумажкой по инстанциям. Но что-то они ее никогда не останавливали... Пусть бы сказали: “Не надо нас посылать в санаторий в Ялту! Лучше мы будем продолжать кашлять и дойдем до астмы! И не ходи, не унижайся по квартотделам – нам и тут хорошо, в подвале. Без ванной, без туалета. И телефона не добивайся! И не бегай к ректору, и не требуй созывать комиссию. Я буду официанткой, Гарик будет шофером...”

Господи! “Спекулировала...” Да будь жив Натан – ей ничего не надо было бы! Никаких кур! Пусть бы она хоть всю жизнь прожила в сыром подвале, пусть бы он ей хоть каждый день устраивал сцены ревности! Лишь бы он обнял ее вечером, когда придет с работы! Лишь бы сказал ей: “Киска! Ты тоже человек! Нечего приносить себя в жертву детям!” Уж он бы не позволил ей работать в трех местах, чтобы покупать Гарику импортные рубашки, а Лерке – модельные туфли! И не ходила бы Лерка в институт с собольим воротником. Он бы ей, Вите Моисеевне, купил соболий воротник! Вот тогда бы они ее ценили, тогда бы они голос на нее поднять боялись! Пусть бы попробовали ее в чем-нибудь упрекнуть! Она, видишь ли, не плакала, когда похоронка пришла...

Да, не плакала... Потому что она все уже выплакала! Все знала в тот день, когда поезд толкал ей навстречу ее незадавшуюся жизнь, выбрызгивая из-под колес, как лужу от семечек, щепки от плетеного чемодана – того, в котором она привезла в Киев свое приданое. А тот проблеск... Тот недолгий самообман, который она позволила себе, получив его первое письмо... Просто письмо было какое-то неожиданное, необычное... Она будто не узнавала голоса Натана... Ничего о себе. Ни слова о болезни, о высокой температуре... Обратись туда-то... Стань на учет там-то... И совсем уж невероятное: “В Казани на вокзале я встретился с Фимой Юдовичем. Мы расцеловались, как братья. Их министерство эвакуируют в Томск. Он обещал, что разыщет тебя и во всем поможет. Не задумываясь, переезжай в Томск. Одна с детьми ты не справишься. Ты же у меня, как комнатный цветочек...”

К тому времени у Виты Моисеевны появилось уже несколько седых волосинок. И пара довольно заметных морщин пролегла под нижними веками.

Ей льстило сравнение с комнатным цветочком, но было странно, что именно так Натану представлялась их жизнь в тайге, в палатках, с отравленными колодцами, тиграми и лесными огородами. Еще больше удивило то, что он преодолел свою въевшуюся с детства ревность и сам посылал ее к Ефиму.

Может быть, это и было самое страшное... Но Вита Моисеевна то ли не решилась понять до конца слова Натана, то ли ее действительно ослепила, сбила с толку надежда на скорую перемену. Казалось, Томск с нетерпением ждет ее, уютный и натопленный... Она даже позволила себе сходить к парикмахеру и сделать перманент. Нет-нет! Не ради Ефима! Это Натан попросил ее сфотографироваться с детьми. На себя и на детей она надела все самое лучшее. Получилось просто замечательно! Нарядная, чуть усталая, Вита Моисеевна смотрит прямо в объектив, будто в глаза мужу. Как бы внушая ему взглядом: "Не беспокойся, у нас все хорошо, мы ждем тебя". Вместе с тем можно было догадаться о том, как ей нелегко и страшно за него. Так смотрели женщины из последних довоенных фильмов...

Лерка с роскошно уложенными черными локонами выглядела яркой и симпатичной. Но лучше всех получился Гарик! Этот белый бант под воротничком, эти огромные глазищи, распахнутые в ожидании птички! Бровки тоненькие, но черные-черные, губки кнопочкой... Да, такой снимок не стыдно было показать однополчанам! Вита Моисеевна воображала себе, как Натан достает из конверта фотографию, как чужие, незнакомые мужчины передают ее друг другу. Их взгляды, одобрительные и даже завистливые...

Но снимка этого Натан не получил. Утром Вита Моисеевна отправила письмо, а вечером пришла за ней Маша Федотова, поселенная с другими одиночками. Велела одеться и повела к себе в общежитие.

В комнате, сплошь заставленной кроватями, толпились женщины. По большей части знакомые. В углу, в полумраке, кто-то кричал. Вита Моисеевна узнала голос Любы, жены Васи Савина, механика Натана. Перед Витой Моисеевной все расступались.

– Вита! Вита! – бросилась Люба ей навстречу, будто появление Виты Моисеевны что-то меняло к лучшему. – Ви-и-та! Они сгорели! В первом же бою! Танк загорелся... А люк заклинило. А все, Вита, ехали мимо – и никто не помог! Уходите все! Вы все уходите! Оставьте нас вдвоем!

Она обнимала Виту Моисеевну, как сестру, которую только что отыскала. И, не чувствуя ожидаемого отклика, все прибавляла страшные подробности.

– Головни, Вита! Вытащили после боя три обгорелые головни! Не разобрались даже, где кто! Они же были у нас одинакового роста. Так и похоронили вместе, в одной могиле! Одна могила у нас, Вита, на двоих!

Она все встряхивала, встряхивала Виту Моисеевну, как бы воодушевляя ее на какое-то действие. Будто им положено было запеть нечто в два голоса, а Вита Моисеевна все не решалась.

Вите Моисеевне нечем было ответить на этот крик. На эти слезы. Ей даже как-то легче стало. Она вдруг поняла, что все время ждала чего-то страшного, неизбежного – операции, казни. И вот оно уже позади. Совершилось. А теперь что ж... Теперь – все. Нечего больше ждать. Нечего бояться. И – ясно, что за такой "гость" приходил к ней той ночью. Что за обгорелая головешка сидела у

нее за столом. Как же она сразу не узнала тяжести этого испытующего взгляда?!

На нее вдруг навалилась досада утраченной возможности. Умерший, сгоревший – он сумел ее найти, явился к ней... А она увливалась, тянула время... Вместо того, чтобы расспросить, объясниться.

Впрочем, то были не мысли – тени мыслей, образующие какой-то сплошной, неменяющийся фон. Мысли же были самые простые, примитивные. “Где взять дрова?”. “Чем кормить детей?”. “Как их вырастить и выучить?”. “На какой работе могут пригодиться полученные в техникуме знания?”

С этими мыслями она возвратилась домой. Легла на свой сенник лицом к стене и так, одетая, пролежала до утра. И Лерка не сказала ей ни слова. Тихо хлопотала по дому, как умела. А когда еще через день почтальон принес второе письмо от Натана, положила его перед Витой Моисеевной и посмотрела вопросительно, так не по-детски...

Вита Моисеевна растерялась. Всего несколько дней назад она читала первое письмо мужа, сначала быстро, про себя, потом вслух, детям. А Натана уже не было. И незачем было ходить фотографироваться.

Второе письмо Вита Моисеевна читать не захотела, решила его сжечь. Но потом передумала и сунула в глубокий потайной карман черной лаковой сумки, где хранились не самые важные документы. Туда же ушли нераспечатанными и следующие пять писем. Пришедшее вскоре письмо Ефима Юдовича она, не читая, бросила в печь. Так же поступила, когда возвратилось назад ее собственное письмо. Только в последнюю секунду вытащила фотографию. Пожалела.

Потом прибыл мешок с вещами. Новенький, аккуратный. Вита Моисеевна сунула его под кровать и открыла только весной, когда стало особенно тяжело и голодно.

К тому времени уже отыскивались родители Виты Моисеевны. Завод, на котором работал отец, почти полгода возили с места на место и в конце концов отправили в Сибирь. Несколько дней эшелон стоял в Барнауле. Вита Моисеевна узнала об этом совершенно случайно. Она тогда работала в госпитале статистиком. Главврач, тоже киевлянин, очень хорошо к ней относился. Он пустил в ход свои связи и организовал их переезд в Бийск.

Конечно, это было чудо: еще день-два, и отца не удалось бы спасти. Он опух от голода, у него отказали почки. А тут его сразу доставили в госпиталь – не какого-нибудь несчастного, никому не нужного старика, а “отца Виты Моисеевны Эльзон”! Так что все бегали вокруг чуть ли не на цыпочках! Лекарства, уход – прямо как для генерала какого-нибудь!

А потом еще больше старались, когда ему стало лучше и все увидели, что это за удивительный человек...

Как он умел все сделать правильно и приятно! Превратить в радость что угодно! Взять хоть этот мешок. Вита Моисеевна предполагала, что среди вещей могут оказаться консервы. Точно знала, что там есть вилка, ложка и нож. Причем вилка была ей особенно нужна. Но подойти, открыть... Нет, она не могла себя заставить. Главное, тогда нужно было бы что-то сказать детям, заговорить с ними вслух о Натане.

И вот отец перед майскими праздниками достает эти вещи, начищает их до блеска, и, когда вечером все садятся за стол, говорит:

– Сегодня, детки, у нас большой праздник. Вы себя очень хорошо вели, помогли маме, особенно – Лерочка. У нее и в школе одни пятерки. Думаю, она заслужила награду. Думаю, она заслужила право есть папиным прибором. А Гарик – он у нас тоже молодец, помощник в доме! Будет пить из папиной кружки.

И так у него красиво все получилось! Так правильно! И тронуты все были, и никто не заплакал.

К зиме смастерили детям белье из рубах Натана... Гарику – пальтишко из гимнастерки. Отец одевал Гарика и приговаривал: “Ну, теперь я знаю, что вы не простудитесь! Уж папины рубашки позаботятся!” И еще: “Смотрите-ка! Гарик в новом пальто – вылитый папа!”.

Так постепенно он приучил детей свободно говорить об отце, как бы вернул его в дом.

Кстати, Гарик действительно становился все больше похож на Натана. Только глаза не такие мрачные. Простодушные. И одет красивее, чем одевали детей Эльзоны. Хоть и война. Если у тебя есть вкус, выдумка, ты пару пуговиц шелком обтянешь, пришьешь к обычной рубашечке шнурки с кисточками – и у ребенка уже другой вид.

Вита Моисеевна и сама старалась не опускаться. Конечно, на обновки денег не было, но ведь даже обыкновенную шинель можно носить по-разному! Верхнюю пуговицу не застегнешь, воротничок сзади приподнимешь... Когда девчонки в госпитале увидели Виту Моисеевну впервые, они решили, что она из “таковских”, из тех, кому и война для веселой жизни – не помеха.

Об этом рассказала ей Нонка Соколова, старшая медсестра. Вскоре после Сталинградской битвы, когда Вита Моисеевна получила второе письмо от Ефима Юдовича. Настроение у людей стало лучше, взгляды изменились. Никто не похвалил ее за то, что она и это письмо порвала, не читая. Наоборот, упрекали даже! А она и так знала, о чем там идет речь. Родители тоже догадывались. Чувства у них были сложные: с одной стороны хотелось, чтобы Вита Моисеевна устроила свою жизнь. С другой – жалко было детей. Отчим – он и есть отчим. Да и не известно еще, захочет ли Ефим жить с родителями Виты Моисеевны...

А Лерка, дочка преданная, вместо того, чтобы быть благодарной за то, что мать принесла ей в жертву собственное благополучие, еще и укусить старалась: “Тебя послушать, так у тебя отбоя не было от женихов! Что-то я их не припомню! – И конечно же, при свидетелях. Чем больше свидетелей, тем лучше. – В то время одинокие женщины, молодые, красивые, со специальностью, с квартирами не могли выйти замуж! А ты! Что ты из себя представляла? Да еще с двумя детьми и больными родителями! И с подвалом, где воняло крысиной мочой!”

Вита Моисеевна хотела быть умнее, хотела промолчать. Но не выдержала:

– Что же ты так расхвасталась, дочь моя дорогая? Ведь, получается, это по твоей вине никто не хотел меня взять! Твоей и твоего братца, который сидит

и радуется, что мать его позорят при людях! Но я все-таки скажу для тех, кто не знает правду! К сожалению, когда вы были маленькими, и вообразить нельзя было, что вы вырастаете такими! Тогда еще мог найтись человек, который подумал бы: “Какие чудные детки! Какое счастье – стать их отцом! Сидеть с ними за столом, сводить их в кино!” О моих родителях и говорить нечего! В них влюблялся каждый, кому они успели сказать два слова. Вот тут сидят Витя, Гена с Долой... Пусть они расскажут тем, кто не знает, что это были за люди! А наш подвал, между прочим, в те времена считался отдельной двухкомнатной квартирой в центре Киева! И крысами там пахло, пока я распределяла в Харькове узников концлагерей. А когда я вернулась, крысами уже через неделю и не пахло! Для того я перетаскала на себе столько штукатурки, для того платила за смолу и за доски, чтобы ты теперь людям врала, что у нас была сырость?! Что же тогда все ваши друзья бегали в наш подвал, а не собирали компанию в своих роскошных квартирах? Может, им нравилось нюхать крысиную мочу?!

Тут все затараторили наперебой, стали ее успокаивать. Витька Усенко, Петька Иванов, Генка с Долкой, и даже Петькина Люська, которая ни разу не бывала в подвале на Рейтарской! “Что вы! Что вы, Вита Моисеевна! Да мы же все выросли в вашем доме! У вас было так чисто, как нигде!” “А помните эти занавесочки с балеринами? А эти подушечки на диване!” “А котлетки! Котлетки помните? Таких котлеток, как бабушка Бася жарила, я нигде больше не ел!” “А оладьи с яблоками? У меня такие не получают! А какао с молоком? У них все было вкуснее, чем дома!” “А как купили полированный стол – помните? Мы еще на нем в лото играли!” “Ну, это уже потом, когда мы школу кончали...” “А помните, как их комнаты выглядели с улицы? Солнечно! Чехольчики беленькие! И всегда печеным пахнет!” “А Вита Моисеевна какая всегда была нарядная? А бабушка? Она за молоком в своем лучшем платье ходила. Помните? С синим бидончиком! И белая шаль на плечах!” “А я еще помню, как дедушка сидел у окна на ящике, в кепочке, с тросточкой между коленями!”

Вита Моисеевна поискала в кармане платочек, но его там не оказалось, и она пошла в коридор за сумкой, придерживая опухшими костяшками пальцев набегающие слезы.

Из спальни доносился голос зятя, размеренно-бархатный, будто спектакль передают по радио: “Ну что ты разошлась? Могла она выйти замуж, не могла – какая теперь разница?! Ты же еще хуже ее! Смотри, до чего ты себя довела из-за такой чепухи!”

Пахло валерьянкой.

– Потому что мне противно слушать в тысячный раз одно и то же! Можно подумать, действительно! Лоллобриджида нашлась! Красавица писаная!

– Ну, красавица – не красавица, а она и сейчас ничего. Дай бог нам не хуже выглядеть в ее годы.

Вита Моисеевна так и распрямилась.

– Да не дотянем мы до ее лет! – не унималась Лерка. – И ни к чему это! Ни к чему! Выжить из ума и детям своим отравлять существование!

– Знаешь, Лера, – продолжал зять своим голосом, способным умиротворить кого угодно, кроме разбушевавшейся Лерки. – Я никогда не был

большим поклонником твоей мамы, а теперь вот могу сказать, что восхищаюсь ею. В такие годы она полностью сама себя обслуживает! И за Гариком убирает. Чем заводиться с нею, он бы лучше благодарен был, что к ней не надо брать сиделку. В ее возрасте людям уже судно подадут! А посмотри на нее – какая она чистенькая, ухоженная старуха! С каким вкусом одета! Ведь этого у нее не отнимешь...

Наступил на большую мозоль!

– Конечно! – снова зашлась Лерка. – У нее всю жизнь в голове одни тряпки! Блузочки, шарфики, брошечки! До сих пор перед зеркалом вертится! А что ей еще делать? Конечно, если я не знаю, за что мне раньше хвататься, за работу или за ребенка... Я не могу еще каждый день стирать и крахмалить тряпки! Она мне противна! Мне стыдно, когда она хвастается своим белоснежным бельем! Меня рвет, когда она в ночной рубашке по дому расхаживает! Даже когда ест что-нибудь “вкусненькое“! Я не читала Фрейда, но уверена, что там про все ее штучки написано! Гарик прав – это у нее старческая сексуальность! Лучше бы она себе любовников заводила, чем лезть нам в души! Портить нам...

Вита Моисеевна уже готова была ворваться в спальню, но кто-то ухватил ее за локоть. Нонка Соколова! Стояла тихо в тамбурчике и все слышала.

– Пошли, пошли, – говорит, – я уже попрощалась за нас обеих. Пошли, я тебя домой отвезу.

Вита Моисеевна послушалась. Решила, что так будет эффектнее – молча уйти. Правда, на всякий случай громко хлопнула дверь. Но никто из этих детей, выросших в ее доме, не бросился за ней следом, не попытался вернуть...

Они с Нонкой еще долго потом топтались под окнами – не могли поймать такси. Машины не останавливались, проезжали мимо. А веселье в доме дочери не расстраивалось, даже наоборот – нарастало и обретало стройность. Гарик играл на пианино и пел одну из своих последних песенок. Как всегда, безразличным, отрешенным голосом, то и дело перекрываемым взрывами дружного смеха.

Вита Моисеевна вдруг вспомнила очень похожий вечер...

Она возвращалась тогда с дежурства, думая о том, что карамельки, купленные ею по привычке, больше не нужны. Кроме мамы, никто в доме их не ел. И так было жаль этих последних карамелек! Себя, своего пустого потемневшего дома...

Еще у ворот она услышала музыку, голос Гарика, раскаты девичьего смеха... Вита Моисеевна остановилась у верандочки Левицких. В раскрытую дверь видна была комната. Старинное пианино с подсвечниками... Профиль Гарика, чуть более мягкий, чем профиль Натана, но все же очень, очень похожий... И стайка девочек напирала на него с двух сторон.

Она стояла среди двора и плакала... Было тут все вместе: и гордость, и удивление, и обида. На второй день после похорон... А ведь он очень, очень любил бабушку!

Вита Моисеевна так и видела этот дворик, налитый тьмою... оранжево-желтое пространство чужого жилья, радостный трепет чужой молодости.

Кажется, именно в тот вечер она впервые почувствовала, что ее молодость уже позади. Что жизнь отодвинула ее куда-то на задний план. С этой кошелкой... А Натан поет... То есть Гарик.

– А когда я умру, он еще и станцует от радости, – сказала вслух Вита Моисеевна.

– Что-что? – повернулась к ней Нонка. – Давай, кончай реветь. Пойдем к метро, наверно. Видишь, машин нет...

Тут из-за угла выкатило такси.

– Вам куда, бабушки? – крикнул в приоткрытую дверь таксист.

Нонка, не отвечая, распахнула заднюю дверцу, выплюнула папиросу, кряхтя, залезла в машину и затащила за собой Виту Моисеевну.

– В Дарницу!

Таксист побурчал недовольно, но спорить не стал, поехал.

– Плачь, плачь, – с праведным злорадством забасила Нонка. – Надо было тебе побольше петушков набирать, Красных шапочек, халатиков грязных! Разве я не говорила тебе, что так будет? А? Помнишь, как ты сумку кофточкой накрывала, чтобы никто не знал, что Вита Моисеевна берет домой халаты на стирку? "Лерочке туфли нужны! Лерочке шубка нужна! Лерочка институт кончает! Гарику надо послать посылку! Гарик возвращается из армии! У Гарика защита!" Как будто в старом костюме он бы не защитился! Помнишь, помнишь, что я тебе тогда говорила?!

– Помню, – вздохнула Вита Моисеевна со сложным выражением. С одной стороны, ей было приятно, что Нонка жалеет ее, возмущается... Но, с другой стороны, выходило так, что Нонка своим сочувствием изымает из ее жизни заодно с плохим и все хорошее.

Взять, к примеру, петухов... Это ж удовольствие было, а не работа!

Бывало, вернешься из поликлиники усталая, поставишь вываривать белье. Приберешь, почишь, детей уложишь. И вот, наконец, вытаскиваешь ящик грязно-коричневых фигурок из папье-маше, берешь краски, кисточки, садишься в коридоре у кухонного стола и начинаешь разрисовывать этих петухов желтым, зеленым, оранжевым. А отец сзади присядет и наблюдает... посапывает, когда особенно удачно получится.

Приятнее всего было расписывать гребешок и бородку. Красную краску выдавали такую яркую, укрывистую! Пять-шесть мазков хорошей кисточкой – и готово! "Мне, – говорил отец, – эти петухи лучше, чем любая хрустальная ваза!" А если еще по радио опера или "театр перед микрофоном" – посидишь так пару часов и забудешь про усталость и кто там что не так сказал тебе в течение дня.

А какая радость была, когда отец соорудил ей для работы сушильную стенку! Приволок из соседнего двора ящики, почистил, отшкурил и сложил в шахматном порядке до потолка. В каждой ячейке помещалось по два петуха. Да это развлечение было, а не работа! Не сравнить ни с каким телевизором! Пованивало, правда, но не очень: Вита Моисеевна работала аккуратно, следила, чтоб нигде не капнуло, не потекло.

Естественно, при такой бережливости у нее постоянно оставалась лишняя краска. А отцу Виты Моисеевны выдавали на работе мягкую коричневую ткань. На портянки. Портянок он не носил и ткань эту за копейки продавал на толкучке, пока Вита Моисеевна не придумала делать из нее "гобелены". Она нашла художницу, которая нарисовала трафарет: в середине – Красная Шапочка с Волком, по бокам – деревья, а внизу – грибы и цветы. Отец так гордился этими гобеленчиками! Бывало, смотрит, смотрит, как она работает... Наконец сощурится и скажет: "Из тебя, Вита, получился бы хороший художник!" И под этим взглядом Вита Моисеевна чувствовала себя едва ли не Васнецовым...

Случалось, что отец возвращался с толкучки, не продав "гобелена" – так он даже неудачу превращал в радость. Всегда оказывалось, что именно этот нравился ему больше других, и он просто счастлив, что может полюбоваться им еще несколько дней! И что, видимо, именно поэтому он и торговал неудачно. Покупатели толпились вокруг него целый день... Одна дама сказала, что это – настоящее искусство, одна девочка плакала, один военный обещал прийти в следующий раз...

Если же "гобелен" продавался, то отец рассказывал, что буквально не успел его развернуть! Что две женщины подрались из-за него, а другие продавцы говорили, что за такую красоту можно просить и вдвое больше.

Да, умел отец из чего угодно сделать праздник! Даже когда он слег и Вите Моисеевне приходилось каждый день стирать его постель и не спать ночами – она не ждала, как другие, чтобы это поскорее закончилось, а просила Бога: "Пусть поживет еще хоть немножко!"

Ехать было так приятно... Ночь спокойная, улицы пустые. Таксист вел машину мягко. Вита Моисеевна утирала платочком слезы, но плакала она уже не от Леркиного хамства. Так... От любви к отцу, к матери... Ко всему вокруг... Вспомнила вдруг, как рабочие на похоронах хвалили отца, рассказывали, что он всегда помнил, кто какой любит инструмент... Откладывал специально для каждого особое сверло, особый напильник... Как к нему все ходили советоваться...

Он еще жив был, когда закрылась артель игрушек. К тому времени Вита Моисеевна уже и гобеленчики не делала: у отца стали отказывать ноги, он больше не мог ходить на толкучку. И Вите Моисеевне ходить запретил. "Жалко, конечно, бросать, но тебе там не место. Сразу милиция прицепится, финотдел..." В торговлю тоже идти не позволил. "Другие будут воровать, а тебя посадят. Успокойся и подожди немного. Обязательно подвернется что-нибудь другое, почище".

И ведь так оно и получилось! Уже через месяц она стала подрабатывать на халатах. До того из поликлиники их носили в прачечную. Там и стирали ужасно, и ткань рвалась после двух-трех стирок. А Вита Моисеевна и так привыкла, что на плите вечно вываривается белье. Приоткроешь дверь на всю длину цепочки, чтобы пар выходит на лестницу... Отбелишь, накрахмалишь, нагладишь – и кажется, будто эти халаты не из бязи, а из фарфора!

Вита Моисеевна нарочно крутилась возле кладовой, когда их раздавали. Слушала, как все восхищаются... Профессор Жуковский говорил: "Приходишь к вам в отделение – и в глазах светло! Не то, что в стационаре. Там все ходят желтые, мятые...". Она все гадала, знает ли он, чья это работа. Соколова могла и разболтать.

Вите Моисеевне, которая и так подрабатывала манипуляционной сестрой в лоркабинете, не хотелось понижать свой статус. Должность главного статистика оплачивалась скромно, но была престижной, поскольку статистик имел дело в основном с начальством. Отчеты ее были безукоризненны во всех отношениях, и, возможно, благодаря им поликлиника считалась одной из лучших в городе. Уж Вита Моисеевна не орала на весь коридор: "Понедельник кончается на "ник" или на "нек"?" – как эта фифочка, которую поспешили принять на ее место, когда она попросила очередной отпуск за свой счет. "У вас глубокий пенсионный возраст, а мы должны давать дорогу молодым кадрам". Причем Нонка, закадычная подруга с сорок второго года, вместо того, чтобы вступить за Виту Моисеевну, на нее же и набросилась. "Хватит! Сколько можно! Ты уже в своей жизни наработалась, пора и отдохнуть!" А когда Вита Моисеевна стала спорить, прошипела ей на ухо: "Нечего было болтать, что кто-то не заполняет карточки, а кто-то принимает частных больных! Тебя это не касалось! И пусть себе эта деваха пишет хоть "панидельнек" – все равно никто ваших отчетов не читает!"

Подруга, называется! Разругаться бы с ней... Но... Вот, сидит... Рожа суровая, коса на затылке, как в молодости – только выкрашена хной. И усы вздрагивают, как всегда, только теперь жесткие, седые. Глаз зыркает озабоченно...

– Ты в порядке, Вита? Если нужно, я могу у тебя переночевать.

– Нет-нет! Зачем? Что это – первый раз меня дочка смешивает с грязью?

– Все потому, Вита, что мы нашим детям под ноги вместо половиков стелились. А надо было с ними, как в деревне: приехал из армии, полезай на крышу, почини.

– Сейчас уже и в селе не так, – скромно вмешался таксист. – Ваш, я слышу, хоть учился. А мой племянник ни учиться, ни работать не хочет. Пьет! Попал как раз на Нонкино больное место!

Вита Моисеевна обрадовалась, когда такси затормозило под ее домом. Она неловко расцеловалась с подружкой и пошла к парадному.

Пахло табаком, маттиолой. Как в Хмельнике, возле дома Ольги Порфирьевны... Как возле общежития в Казани, когда Натан учился на курсах повышения квалификации.

Вита Моисеевна присела на лавочку: решила подождать, пока не появится кто-нибудь из загулявших соседей. Во многих окнах еще горел свет, но входить в парадное было боязно.

Она не жалела о том, что отпустила Нонку. В отличие от Бэти и Мани, Нонка всегда и во всем обвиняла детей – причем с такой настоящей и тяжелой злостью, что Вита Моисеевна в конце концов пугалась и обижалась за них. Получалось, что ее дети чуть ли не хуже Нонкиного Петьки, а это никак не соответствовало действительности. Даже и сравнивать нечего! Петька еще в

школу не ходил, а на него уже бегали жаловаться со всего двора – и местные, и эвакуированные. В третьем классе два года сидел, школу так и не кончил. В ремесленном тоже не блистал. А когда его устроили по блату на хорошую работу, тут же начал пить, а потом и вовсе попал в тюрьму за хулиганство. Так спрашивается: разве можно его сравнивать с Гариком? Это от зависти Нонка всю жизнь валяла все в одну кучу...

Вита Моисеевна вспомнила, как Гарик танцевал под елкой в костюме зайчика. Вспомнила, как, склонив головку, он старательно наглаживал себе рубашечку и пионерский галстук. Как после защиты декан факультета электроники пожимал ей руку и благодарил за то, что вырастила такого замечательного сына. Как в доме отдыха “Электронмаша” все расцветали, когда узнавали, что она – мать Георгия Натановича. Ей и холодильник в номер! И лишнюю подушку!

А как они в Москве ходили вдвоем на концерты? И разве вчера только не сказала ей новая соседка: “Какой у вас красивый сын! Вы, наверное, такая счастливая!”. Напрасно она рассказала ей под горячую руку и про дверь, и про веник, и про подмененный свитер...

Все-таки много, много было радости! Наряжать их, купать по очереди в огромном тазу... Что за удовольствие было намыливать эти лодыжечки, эти подмышечки! Она поливала им на затылки из ковшика и думала, что не надо ей ничего другого! Не надо этого кожныхвенеролога, который тарашится на нее, как кот на сметану, и никак не решится подойти! Не надо Ефима Юдовича, который развелся с очередной женой!

Смотрела вслед уходящей Лерке, захлебываясь от гордости за ее аккуратненькие ножки, плечики, черные локоны, крепдешинное платье. Любовалась ручкой, кокетливо отведенной в сторону и помахивающей ридикюлем... Впитывала одобрителный соседский говор: “Какая девочка! Какая умница! Студентка! Невеста!” Сидела у дверей своего подвала, приглядывая за урчащими в выварке халатами, и воображала себе, как станет Лерка учительницей... И Вита Моисеевна закажет ей пальто с настоящим соболем, блузку, полосатую, с басочкой, белым кружевным воротничком и манжетиками, с черным бархатным бантиком – как у Марецкой в фильме “Сельская учительница”. И как Лерка в нарядном халатике, с маникюром, будет проверять тетради в спальне за аккуратным письменным столом. А Вита Моисеевна будет содержать в чистоте дом, тихо хлопотать на кухне, изящно сервировать ужин. И все они сядут вокруг стола: Вита Моисеевна с мамой, Лерка со своим красавцем мужем, Гарик с невестой. У каждого – вилка, нож и льняная салфетка. Будут сидеть подолгу, обсуждать новые книги, читать вслух статьи из газет...

Из всего этого сбылись только пальто с соболем и полосатая блузка... То есть, Лерка, конечно, стала учительницей – но радости от этого не получилось никакой. Ее предмет дети не любили. На уроках проказничали, а Лерка отвечала им продуманной жестокостью, так что рассказы о школе были начисто лишены ожидавшейся благодати. Ни дать, ни взять сводки с места боевых действий. Однажды Вита Моисеевна просто в ужас пришла – когда Лерка стала хвастать, как поставила на место своего главного школьного врага. “А я ему

говору: “Коломиец! Не подходите ближе, чем на два метра! К вашим носкам в придачу должны продавать противогаз!” И весь класс хохотал!”

Даже муж ее не выдержал: “Лера! Но ведь это ужасно! Как ты можешь, ведь ты педагог!”

Его-то самого ученики обожали, особенно девчонки. Этим своим голосом он вообще всех гипнотизировал. И Лерку в том числе. Она так и сказала: “А мне, мама, все равно, что у него лысина и кривые плечи! Когда он говорит, у меня такое чувство... Как будто меня заворачивают в облака!”

Ладно... Кому что нужно... Вита Моисеевна и слова не сказала против. Ведь это ее, Леркин выбор, Леркино счастье. У каждого свои представления о романтике.

Но если б счастье! Кроме этой лысины и плеч, у него оказалась еще пара отнюдь не романтических болячек. А главное – в довесок – мамочка, которая вечно сидит с ним рядом и кладет ему голову на плечо, пока Лерка прислуживает за столом. С семи до восьми он гуляет с мамочкой под ручку, а Лерка в это время проверяет горы неряшливых ученических тетрадей. Интеллигентная мамочка, которая кричит на весь вокзал вслед уходящему поезду: “Лера! Не позволяй ему поднимать чемодан! Не забывай о его геморрое!” И, как девчонку, отчитывает Лерку за купленные без спроса два метра штапеля. Лерку, которая зарабатывает в два раза больше, чем ее сыночек! В довершение всего старая дура принимает в своем доме нахапку-географичку и выслушивает ее сердечные тайны... Она, видите ли, влюбилась в этого “Левитана”! Надо же! Буквально влезла в молодую семью! Хоть бери и ради нее открывай гарем! Ну, с ней-то Вита Моисеевна разобралась: выждала подходящий момент, подняла с огня сковородку и пообещала: “Если я тебя здесь еще раз встречу – плесну в лицо кипящим маслом, так и знай!”

И думаете, Лерка ее поблагодарила? Как же! еще на нее и набросилась. Зачем вмешивается не в свои дела! Вита Моисеевна стерпела. Понимала: поорет-поорет – и начнет жаловаться. На работе тяжело, свекровь уже неделю пилит за газовый шарфик...

А вот не надо было Вите Моисеевне терпеть! Раз позволила на себя орать, второй... И пожалуйста: она уже не “мамуленька” и не “мамусечка” и не “ты у меня самая лучшая на свете!” Уже, оказывается, ничего особого она, Вита Моисеевна, не совершила. “Борина мать тоже потеряла мужа на фронте и вырастила его одна, без бабушек и дедушек! Но при этом успевала читать Толстого и Достоевского! Не увлекалась чтивом вроде “Женщины в белом”!”

Да, Вита Моисеевна читала “Женщину в белом”! Но “увлекаться” у нее не было времени. Ибо пока ее дорогая сваха лежала на диване с Толстым и Достоевским, Вита Моисеевна ухаживала за умирающим отцом, у которого уже не было сил дойти до уличного туалета. Зашивала подкладку на пиджаках своего ненаглядного зятя-Качалова и стригла бахрому на его брюках. Такие брюки могли быть на сироте из детдома, а не на единственном сыне любительницы Толстого! Она Толстого читала, а Вита Моисеевна бежала среди ночи по пустым черным улицам самого бандитского района в городе, катилась вниз по щербатым ступенькам, которых не заметила в темноте. И в таком вот виде, с красными ссадинами на коленях, подняла среди ночи людей: “Мусенька!

Помоги ради бога! Лерка рождает, а “скорая” не захотела везти ее в твою больницу!”

Мало того, что сама с ума сходила, так еще и других заставляла! Просыпайся, Муся, несись среди ночи в чужую больницу, ссорься с коллегами, наживай себе неприятности! Там, видишь ли, Лерочка рождает! Та самая соседская куколка с черными локонами, которой твоя мама делала бантики из обрезков абажура! А она тебе, Муся, за то, что ты с ней целую ночь провозилась, еще и выговор сделает: незачем было, мол, разрезать промежность.

Поссорила Виту Моисеевну с такой близкой подругой! Муся ведь тоже была с перчиком! Обиделась. Шестнадцать лет не звонила, не заходила! Но – тайно выспрашивала о Вите Моисеевне у общих знакомых. Все знала... А потом-таки не выдержала, подкараулила Бэтью. Велела передать Вите Моисеевне, чтобы та не вздумала соглашаться на обмен и селиться с Леркой в одной квартире. Лерка, мол, злая, тяжелая. Раз уж Вита Моисеевна не собирается устраивать свою личную жизнь, пусть лучше съедется с Гариком. Жена у него, конечно, не подарок, но зато сам он добрый и ласковый...

Посмотрела бы Муся, как этот добрый ласковый Гарик бьет мать веником... Так и хочется позвонить ей и рассказать! Но Вита Моисеевна тоже гордая, не станет звонить первая. Раз ты такая, Мусенька – выведывай у своих шпионов, что и как. Знает Вита Моисеевна, кто это набирает ее номер и молчит в трубку! Пусть Гарик не рассказывает ей сказки про сбои на телефонном узле! Уж скорее она поверила бы в Леркины подслушивающие устройства. Но тут она согласна с зятем: сейчас столько людей уезжает за границу, что подслушивающих аппаратов на всех не напасешься. И вообще органы вели бы себя по-другому.

Разве это на них похоже? Звонит звонок. Вита Моисеевна снимает трубку. Тишина. Только что-то слегка пошурхивает, будто сдерживаемое дыхание.

– Муся! – говорит Вита Моисеевна. – По правде сказать, я уже не помню точно, что там между нами получилось. Может, я и действительно брякнула что-то лишнее... Лерка накрутила. Во всяком случае... за столько лет можно уже простить...

И слышно: в трубке шипит чуть иначе, чуть быстрее.

– Мне так нужно было бы с тобой поговорить! Посоветоваться. Хотя предыдущий твой совет был не очень удачный... Лерка, конечно, мерзавка, истеричка, но она хоть руку на меня не поднимает. А твой Гарик...

И тут Муся вешает трубку. Не хочет слышать правду. Будь это КГБ, они сразу бросили бы трубку. Или слушали бы до конца. Им-то что? Ну, развелся Гарик с женой, ну уломал Виту Моисеевну сменять ее однокомнатную квартиру и его десятиметровую нору в коммуналке на квартиру двухкомнатную... С чего бы они всегда бросали трубку именно в этом месте?!

И Муся напрасно бросает... Вита Моисеевна ни в чем ее не собирается упрекать. Сама, дура, надела себе на шею петлю собственными руками! Она-то надеялась: заживут с Гариком, как когда-то. Она наведет уют. Будут вместе завтракать, вместе смотреть телевизор... Ну, и вообще... Люди они уже

немолодые. Бывает нужно, чтобы кто-то тебе лекарство подал, вызвал скорую помощь.

Оно так и шло поначалу. Это же было счастье – смотреть, как он уписывает ее супчики и биточки! После Риткиного фасолевого супа на первое и толченой фасоли на второе. А то еще, бывало, вдруг явится домой с тортом. Или поставит среди стола коробку дорогих конфет. “Что такое, сынок? Что за праздник сегодня?” – “Как? Ты не знаешь? Третье февраля!” И так красиво хохочет! Глаза черные, брови, усы черные. И ранняя проседь, как у Натана. Но нет в выражении лица этой мрачной эльзоновской тяжести. Нет этого напряжения ни в форме носа, ни в губах... Как-то больше миловидности, размаха. А уж его манера устроить себе праздник в любой подвернувшийся день – точно блейнисовская! Это от отца Виты Моисеевны. Купить билеты на спектакль – в первом ряду! Оба наглядятся, нарядятся! Выйдут из дому под ручку – всеобщее внимание. “Вита Моисеевна! Какая вы счастливая! Иметь такого красавца-сына! Я вчера как увидела его в сером костюме... И вы в сером платье, с белой шалью на плечах, в черных туфельках, с черной сумочкой... Ну просто сомлела от красоты! Куда это вы шли? В гости?”

Вот и сглазили... Ну, и Лерка, конечно, руку приложила. “Почему ты взяла себе большую комнату, а ему отвела маленькую?!” Интересно! А какая у него была до этого? Еще меньше на два метра! Вита Моисеевна только потому и согласилась на обмен, что получала как бы целиком свою прежнюю квартиру – плюс комнату для Гарика. Она и так много потеряла. Он ведь не унес в свою комнату обувь, пальто, инструменты, удочки, рюкзаки... Ей многими удобствами пришлось пожертвовать, чтобы все это разместить и содержать в порядке!

Только ее комната и осталась в своем первоизданном виде. Так неужели и этого она должна была лишиться?! Разве Лерка не знала, какого труда, каких жертв стоил материнский гарнитур? Хоть бы раз за два года она предложила: “Мама! Давай-ка я завтра схожу за тебя в мебельный отмечаться! А ты выспишься”. Но это им никому в голову не пришло. А вот явиться, зыркать по сторонам глазами, как ревизор... “Не понимаю! Мой гарнитур и новее, и дороже, а твой почему-то смотрится лучше!” Ну прямо возьми и предложи ей поменяться!

Конечно, если у нее обивка противная, темно-зеленая... Нет, чтобы послушаться маминого совета и купить эти уцененные индийские скатерки! Серенькие, с бордовым и кремовым рисунком. Всего по шесть рублей штука! Никто их не брал, потому что размер неудобный. А Вита Моисеевна сразу сообразила, как их можно ловко разрезать и стачать, чтобы узор совпал! Получились шикарные покрывала на диван и два кресла, чехольчики на стулья, две роскошные наволочки для диванных подушек! И еще две салфеточки – на стол и постельную тумбу! Все это Вита Моисеевна обшила кремовой бахромой. Такой же бахромой обшила и шторы. Полгода ходила по магазинам, искала подходящую ткань. И нашла-таки! Кремовую, с рельефным узорчиком. Занавесочки повесила нежные, беленькие! И подоконник пустой.

Вита Моисеевна в кочевой своей молодости не привыкла к вазонам. Считала, что достаточно ветвей за окном и букетика среди стола. Белый чистый подоконник так и наполнял всю комнату сиянием. Светлая полировка

мебели отражала солнце, ярко блестели начищенные медные ручки... Соседка, чужой человек, так и сказала: “Как же у вас хорошо, Вита Моисеевна! Даже солнышку от вас не хочется уходить!”

Но ведь у Лерки своя голова на плечах! Зачем ей скатерки? “Это же мещанство – накрывать мебель!” “Полировка уже не в моде!” “Стол среди комнаты теперь никто не ставит!” Зато у нее, у Леры, все как у людей! Мебель мрачная, будто пыльная. Обивка за полгода затерлась на углах, засалилась. Не скажешь ведь гостям: “Не ерзайте, не трогайте грязными руками!” А подоконник? Вечно он у них облезлый от воды, весь заставлен столетниками и кактусами, от которых никакого уюта – только в глазах темно! Казалось бы: вот уже люстра точно такая же, как у Виты Моисеевны, с висячими кремовыми плафончиками! А света – не дает! И не втолкуешь Лерке, что свет должен падать на стол, иначе он пропадает даром! Но у нее на все есть ответ. “У тебя лучше напряжение в сети... У тебя солнечная сторона...”

А у брата твоего какая? Но что у него освещать солнцу? Тарелку с кочанами и окурками? Свалку газет и журналов? Раскуроченный телевизор всеми кишками наружу? Конечно, надо срочно поменяться с мамой комнатами! В большой ведь и кочанов поместится больше! И пусть там Гарик прожигает дырки своими папиросами, пусть оставляет на сутки несобранную постель, пусть водит туда своих женщин! А мама целый день будет сидеть в тесной будке, как собака.

Да если бы он позволил, Вита Моисеевна за два дня сделала бы из его комнаты картинку! Ладно. Пусть живет, как ему нравится. Вита Моисеевна и порога его не переступит! Назло ей купил цветной телевизор и поставил у себя. Слышит, что у матери сгорел кинескоп, но не скажет: “Мама, зайди сюда, посмотришь свой сериал!” Порядочный человек вообще поставил бы его в большой комнате. Зачем на двоих два телевизора?! Якобы ему сериалы не нравятся. Это он Бэте так объяснил. А Лерке он сказал, что не может слышать, как мать комментирует каждое слово. А Мане сказал, что смотрит иногда чуть ли не всю ночь.

Вот это точно! Причем звук не убирает, так что ей приходится ночами не спать и слушать его похабщину через стену...

Ну, а конфеты? Проходишь мимо его двери и видишь: на письменном столе развороченная коробка конфет. Причем – дорогих! Таких он и в хорошие времена не покупал. Людям месяцами зарплату не платят, а он приносит в дом такие конфеты! Конечно же, ей назло!

Но если даже Лерка права, если он действительно зарабатывает теперь в четыре раза больше, чем прежде – тем более стыдно прятать конфеты от матери, которая вырастила тебя без отца, надрывалась на трех работах, чтобы всунуть тебе в рот кусок получше!

Вита Моисеевна так и сказала Лерке: “Вот я пойду в этот его институт богатый и расскажу им, как он жрет втихаря!” А Лерка... этим своим голоском... недаром ее дети в школе ненавидят! Не за Сосюру и не за Тычину – за этот голосок. “Иди-иди! Только ты им все по порядку расскажи! Как ты ему жизнь поломала! Как ты ему в душу лезла! Как ты на свою дверь замок нацепила и перетасила в свою комнату сахар и крупу! Ты же первая завела себе

отдельное хозяйство! Ну так и ешь свои крупы, а на его конфеты не зарься! И потом, он их не прячет и не пересчитывает! Я тебя хорошо знаю: не может такого быть, чтобы ты к ним не приложилась!”

Ну?! “Поломала жизнь”! Чем? Тем, что не позволила ему водить в дом женщин легкого поведения? Как же не легкого, если они заводят романы при живых мужьях?! Ну, та, с которой он в командировке познакомился, возможно, и была порядочная, но разве Вита Моисеевна виновата, что она обиделась на Гарика? Вдруг звонит звонок... за дверью чужая женщина с чемоданчиком: “Мне нужен Георгий Натанович”. – “Георгия Натановича нет”. – “Простите. А когда он будет?” – “Через месяц. Он уехал на курорт”. Она поворачивается и уходит.

Конечно, он тоже не виноват. Вечно эти проблемы с горящими путевками! Вдруг предлагают Ялту, почти даром. Как раз по его профилю! За один день сдай все анализы, оформи курортную карту... Конечно! Он закрутился и забыл, что пригласил ее как раз на это время. Но мать тут при чем? Надо было предупредить! Придумать какую-то версию! Если бы он тогда так не разошелся – и она никогда не попрекнула бы его пропавшими чулками!

А крупы она перенесла в комнату, потому что на кухне стали появляться муравьи. Еще за год до того она могла позволить себе выбросить пакет, в котором завелись насекомые – а тут, когда всей ее пенсии хватает на десять килограммов крупы, возишься с каждым поганым остаточком, прокаливаешь его в духовке, перебираешь по одной рисинке, радуешься, что в кладовке завалялась гречка с неизвестных времен, чуть ли не со старой квартиры, ешь без аппетита, возможно даже с риском для жизни! – а он без спроса берет два кулька и увозит к Петьке на дачу!

Разве она хоть слово сказала, когда он на себя одного варил кашу из целого стакана крупы? Но – два пакета! Тут уж ясно было, что он их потащил либо к дорогой своей бывшей жене, либо кому-то из своих преданных дружков! В то время, как ни один из этих паразитов не выбрался к нему в больницу! Кроме мамы, некому было сидеть возле него, когда он выходил из наркоза, некому было таскать ему на гору в урологию печеную картошку! Тогда-то он был шелковый! “Мамочка! Знакомьтесь, это моя мамочка пришла!” И не какая-нибудь бестолковая старуха, а подтянутая, элегантная женщина, надушенная хорошими духами! В наглаженном белоснежном халате! Полезный человек, медработник с колоссальным опытом!

Так он же потом и это перекрутил! Оказывается, она во все лезла со своими советами и строила из себя профессора!

Нет! Права Нонка Соколова! Тысячу раз права! Вита Моисеевна заслужила такое к себе отношение, если после всего этого пошла к Лерке на день рождения! Позволила при чужих людях вытирать об себя ноги! А теперь вот сидит на лавочке, ждет своего мерзавца-сына, который придет и скажет ей какую-нибудь гадость. “Ну, что, – скажет, – боялась войти в парадное? Боялась, что тебя в лифте ограбят или изнасилуют?” Когда нет свидетелей, он и матом может послать.

Но Вита Моисеевна не доставит ему такого удовольствия! Тем более, что в кошельке у нее – одна мелочь. Тысяч сорок, не больше.

Вита Моисеевна поднялась со скамейки. Ночь вокруг была такая возвышенная, торжественная. Дома стояли на плоской земле, длинные, темные, похожие на корабли, которые чудом разминулись.

Гордо отряхнув юбку, Вита Моисеевна направилась к лифту. Несуетливыми движениями отперла свою дверь. Свет в передней показался болезненно ярким. Она вырвала два листка из блокнота и на одном написала: “Меняю двухкомнатную квартиру на третьем этаже на однокомнатную + комната в общей квартире”.

Эту записку она положила на подзеркальник в коридоре. Затем взялась сочинять вторую. “Передай своей сестре, что я прерываю с ней всяческие отношения. Пускай едет в свою Америку сама. И не рассчитывает на мою пенсию и другие льготы. Ничего-ничего! Ее дочка ответит ей такой же благодарностью!”

Этот листок она занесла в комнату Гарика и прислонила к коробке от конфет, в которую теперь был горкой насыпан арахис. Вита Моисеевна взяла было пару ядрышек, но передумала и бросила их обратно.

И что же? Утром она выходит из своей комнаты и обнаруживает: записка так и стоит нетронутая, а Гарика в доме нет. Что она должна была подумать? Человек за рулем, выпил... Не то чтобы много, но...

Она набрала рабочий номер Гарика и измененным голосом попросила его к телефону. Но Гарика и на работе не было. Тут Вита Моисеевна испугалась окончательно. Конечно, он мог остаться на ночь у Лерки, мог назло ей потащиться к кому-нибудь из друзей или к одной из своих “в высшей степени благородных”... Но не явиться на работу...

Вита Моисеевна приняла таблетку циннаризина, двадцать капель корвалола и стала звонить по всем известным ей телефонам. Была половина одиннадцатого утра, и трубку нигде не снимали. Только у Яшки откликнулась простуженная Милка и сонно прохрипела: “Дядя Гарик вчера уехал от тети Леры первым. А что?”.

Выходило, что бессмысленно звонить и Лерке в школу.

– Что мне делать? – спросила себя вслух Вита Моисеевна. – Куда обратиться? В милицию? По больницам?

Она набрала “ноль” начинающим дрожать пальцем, а в “двойку” уже и вовсе попасть не смогла. Постучала по трубе Алле Васильевне – четыре раза, как условились. Открыла входную дверь. Вообще-то обращаться к этой соседке не хотелось: уж очень азартно относилась она к злоключениям Виты Моисеевны! Будто следила за сюжетом многосерийного фильма, где дети Виты Моисеевны исполняют роли злодеев. Это иногда бывало и кстати. Но не тогда же, когда Гарика неизвестно где искать! К сожалению, с другими соседками нельзя было поддерживать связь по трубе, да и тонограф имелся только у Аллы Васильевны.

Она тут же явилась с этим своим драгоценным аппаратом и очень обрадовалась, когда оказалось, что давление у Виты Моисеевны

действительно подскочило. Алла Васильевна предложила вызвать скорую помощь, но Вита Моисеевна наотрез отказалась: на Леркины именины она собиралась второпях и не могла допустить, чтобы кто-то увидел ее комнату в таком беспорядке. Она приняла полтаблетки тенорика, приложила к икрам горчичники и попросила на всякий случай позвонить Лерке – вдруг у нее сегодня нет уроков на первой смене. И надо же – Лерка оказалась дома, томным голосом откликнулась: “Ал-ло!”. Алле Васильевне стало жаль, что известия у нее недостаточно роковые. Она постаралась говорить сухо, но с подчеркнутым драматизмом.

– Лера! Сейчас же приезжай! Твоя мать в ужасном состоянии!

– Что там у нее? – спросила Лерка скорее с досадой, чем с испугом. – Очередная “ринорея”? “Диарея”? Или, может быть, не дай бог, “обстипация”?

– У нее давление сто семьдесят пять на сто. Твой братец не явился ночевать и его нигде нету – ни на работе, ни по друзьям.

– Ну, что? – спросила Вита Моисеевна, приподнявшись на локте.

– Говорит, что она тоже заболела и ждет врача. Говорит, чтобы вы тоже вызвали участкового. А за Гарика...

– Чтоб она сдохла! – с плаксивым гневом выкрикнула Вита Моисеевна.

Алла Васильевна опешила и, помолчав, растерянно добавила:

– Бросила трубку. По-моему, она услышала...

– И пусть! – начала страстно всхлипывать Вита Моисеевна. – Я ей это еще раз повторю!

– Вот так смотрю на вас, – покачала головой Алла Васильевна, – и думаю: какое счастье, что у меня нет детей! Так я звоню в поликлинику. Вызову Петрову.

После ее ухода Вита Моисеевна поднялась, убрала в шкаф вещи и стала подметать пол. Она очень дорожила уважением язвы-участковой и не могла допустить, чтобы та из квартиры в квартиру понесла весть, что, дескать, сегодня и у Виты Моисеевны в квартире “скрипел под ногами песочек”...

Потянувшись веником под тумбочку, Вита Моисеевна вдруг увидела на полу красную каплю. И тут же – неизвестно откуда взявшуюся вторую. Похолодев, она выпрямилась и пальцем провела под носом. Палец оказался ярко-красным... Вообще-то подобное зрелище с детства было достаточно привычным для Виты Моисеевны. Но тут, на фоне повышенного давления, после ночи, которую она считала бессонной...

“Скорая помощь” приехала достаточно быстро и к состоянию Виты Моисеевны отнеслась вполне уважительно. Тем более, что для большей важности среди комнаты был оставлен тазик с окровавленными тряпками. Кроме того, Вита Моисеевна соврала, что кровь идет уже второй час и что она приняла две таблетки адельфана. Ее даже поругали, сказали, что не надо было заниматься самолечением, что две таблетки адельфана человека в ее положении могли просто убить.

Вита Моисеевна прекрасно помнила, как все было на самом деле, но вместе с тем она как бы... вошла в роль. Хотелось, чтобы вызвали детей... чтобы они увидели этот тазик... Хотелось даже инсульта, причем со смертельным исходом... Чтобы у них начались угрызения совести, чтобы они

вспомнили все ее труды и жертвы, чтобы поняли, каково это – остаться без мамы.

И так она сладко плакала, совсем позабыв об исчезновении Гарика... Но тут позвонила Бэтя, подруга дорогая... Ни “здрaсте”, ни “как ты себя чувствуешь?” – сразу, без подготовки:

– Что ты устроила истерику и подняла шум на весь город? Он у Риты.

– У какой Риты?

– У какой! – ядовитый смешочек. – У жены своей, у бывшей.

– Они что же, снова помирились? – растерялась Вита Моисеевна.

– Да куда им снова мириться! – хмыкнула Бэтя. – Просто Рита предложила ему пожить в Анечкиной комнате. Пожалела. Так что успокойся, никто больше не будет красть твои простыни и смыливать твоё мыло.

– Ах-ах! – взвилась Вита Моисеевна. – Какая ты у нас остроумная! Да если бы ты видела, во что он превратил эти простыни, ты бы не ехидничала!

Черные, как асфальт! Если бы ты нашла эти скомканные тряпки в кладовке, ты бы тоже никогда не подумала, что это и есть мои новые простыни, которыми я ни разу не пользовалась! И почему, скажи мне, надо было везти к другу на дачу именно мамины простыни?! Мне пришлось их три раза вываривать и еще заливать перекисью водорода!

– Ну вот. А теперь не надо будет вываривать. Плохая жена пустила его к себе, чтобы он отдохнул от своей замечательной мамочки.

– Бэтя! – сказала Вита Моисеевна. – Ты пользуешься тем, что у меня сейчас нет сил с тобой спорить. Скажу только одно: надо было мне быть такой матерью, как ты. Не сходить с ума, когда они болеют. Не стоять под дверью, когда они сдают экзамены – уничтожать своё больное сердце. Не надо было возить их по Ялтам и лимончик брать в дорогу, чтобы их не укачало! Надо было отправлять их в лагерь, как ты это делала – они бы меня больше ценили. Но ничего! – густо завсхлипывала Вита Моисеевна. – Скоро! Скоро они меня уложат в гроб! Пусть потом всю жизнь вспоминают, как от меня прятали конфеты! Пусть попробуют...

– Вита, – перебила Бэтя, и как бы даже с сочувствием. – Во-первых, мои дети не лучше твоих. Просто я меньше лезу им в душу и не поливаю их грязью на каждом углу. Думаешь, люди не докладывают Лерке и Гарикку, что ты о них говоришь? И после этого ты еще ждешь хорошего отношения! Во-вторых, дорогая, чтоб ты знала: ты живешь не для детей, а для себя. Для них, и для моих в том числе, было бы большим облегчением, если бы мы умерли. Сама подумай: ну какой от нас прок?! Одни угрызения совести! Ведь они не злодеи. Они сами – пожилые больные люди. Лерка уже два раза была под ножом. И третий раз не идет только по своей халатности! Видите ли, ей внука не на кого оставить! А Гарик? Почки у него уже резаные, колено резаное, сто болячек. Подумай, если бы с ними что-нибудь подобное случилось, когда они маленькими были – да ты бы с ума сошла! А сейчас ты только языком болтаешь. На самом деле тебе все равно.

Если бы это Вите Моисеевне сказал кто-нибудь другой, она бы трубку бросила или так бы ответила... Но с Бэтей у них с самого начала повелось: как бы ни кипятилась Вита Моисеевна, как бы ни пыталась вставить хоть слово –

ничего не получалось. Выслушивала до конца, а потом уж наедине с собой раздражалась бесполезной гневной отповедью.

Вот и сейчас Вита Моисеевна слушала, объясняя свою непонятную покорность тем, что не может стукнуть склеенной трубкой. Будто нельзя было просто нажать на рычаг пальцем! А Бэтя расходилась все наглее. Такое понесла! Они, дескать, зажились все трое, но Бэтя с Маней это понимают, а Вита Моисеевна – нет. Поэтому она думает, что манишки ее забрал Гарик, а на самом деле это старческий психоз. Как тело отказывает – так и мозги отказывают, и теперь они глупее собственных детей. Так что нечего лезть к ним со своими советами, тем более с претензиями. Потому что, видите ли, неизвестно, что они своим детям выдадут под конец. “Сиди, – говорит, – тише воды, ниже травы, помогай, если еще способна, и не жди благодарности. Может, им придется вытаскивать из-под тебя обгаженные простыни, как Маня семь лет таскала из-под своей свекрови. Помнишь, как Лева, бедный, надорвался, когда доставал свою маму из ванны?”

– Это был их долг! – сумела наконец вставить слово Вита Моисеевна. – Когда-то она за ним пеленки стирала и носила его на руках!

– Сравнила! – обрадовалась Бэтя. – Ребеночка таскать – или старуху за восемьдесят килограмм! Пеленочку постирать – или простыню! Разве это труд? – это же радость – искупать ребеночка, потискать его! Может, ты ждешь, что и они тебя будут на ручках носить? Скажут: “Агусеньки, мамочка! Агусеньки, Виточка Моисеевна!” Может, тебя еще в попку поцеловать?!

– Лучше бы я тогда утонула! – закричала Вита Моисеевна, бросила, наконец, трубку и заплакала.

Она вдруг так ясно почувствовала тот день... Мягкие ботиночки на ножках, шелковую завязку шапочки под подбородком, бортик колодца, прогретый солнцем, холод воды в глубине и едва уловимое ее буханье. Широкий, просохший после зимы двор с редкими зелеными язычками пробивающейся травы. Стайку притихших детей. Взрослых, отовсюду подступающих к ней с забавной и непонятной осторожностью... “Виточка, вот тебе яблочко!”

Ну что бы ей качнуться назад? Улыбнуться на прощанье длинным ротиком, показать младенческие зубки, нежные ямочки, светлые счастливые глазки, мелькнуть краешком белой рубашечки и удариться о воду не громче пустого ведерка... Господи! И с чего они все так радовались? Хватали ее друг у друга из рук. Слава Богу – осталась жива! Получит сполна: и войну, и революцию, и погромы, и катания по Дальнему Востоку с голубым абажуром в обнимку! Аборты, роды, похоронку! Вечный страх – то перед ГПУ, то перед финотделом. Комиссии, проверки, детские болезни, похороны родителей, Чернобыль, перестройку... И еще на закуску – бросай свой дом, и не только дом, но и любимые вещи – это, видишь ли, все “тряпки и мусор” – и уезжай с насиженного места черт знает куда: в Америку или в Германию, потому что им надо продать твою квартиру, а потом жить всей оравой на твою пенсию! За это они будут плевать тебе в лицо и делать тебе замечания. А лучшая твоя подруга их еще и похвалит!

И так это прозвучало красиво! впечатляюще! – что Вита Моисеевна не выдержала, набрала Бэтин номер и все ей повторила. Но Бэтю разве

проймешь? Она что угодно вывернет себе на пользу! Тут же затараторила своим ядовитым голоском: “В том-то и беда твоя, Вита, что ты чувствуешь себя той пусечкой в красном пальтишке! Слишком с тобой все нянчились! Дед, бабка, родители, Палашка... И еще Натан в придачу! Была б ты в семье седьмая, как я – ты бы не ждала, что дети и внуки на тебя молиться будут. Я, видите ли, своим детям меньше внимания уделяла! А ты своим дышать не давала! Они же для тебя были, как куклы! Эти банты! Эти стихи! Скажи спасибо, что раньше им не опротивела! Ты все хвалишься, какая ты хорошая была дочка! Да, не буду спорить, ты любила родителей. Но вспомни, сколько лет прожила твоя мама! Она же умерла в Леркином возрасте! Если бы она прожила дольше, может, ты и с ней бы в конце концов поцапалась! И вообще, Вита... Если бы ты прожила столько, сколько твои родители – и ты бы не успела рассориться с детьми!

Тут Вита Моисеевна снова швырнула трубку! На этот раз под пластырем что-то хрустнуло, и оказалось, что больше там не гудит. Вита Моисеевна даже обрадовалась: теперь Бэтя никак не могла ее достать.

Супруг Аллы Васильевны, который обычно с удовольствием чинил ей разные мелочи, возвращался домой к семи, и Вита Моисеевна весь день выглядывала его в окошко. Поломка оказалась пустяковая, но Вита Моисеевна задержалась у соседей до девяти вечера.

Собственная квартира при вечернем освещении вдруг показалась ей какой-то пустой и как бы злорадно подчеркивающей эту свою пустоту. Как только Вита Моисеевна подключила телефон, раздался звонок.

– Что случилось? – спросила Маня. – Почему ты весь день не брала трубку?

– Нарочно не брала, – сурово ответила Вита Моисеевна. – Чтобы эта сумасшедшая не морочила мне голову.

– Ты мерила вечернее давление? – спросила явно осведомленная Маня.

– Сто семьдесят на сто, – не без гордости ответила Вита Моисеевна.

Но малахольная Маня не испугалась.

– Для нашего возраста – неплохо.

– Смотря к какому давлению привык организм! – обиделась Вита Моисеевна и как бы нехотя добавила. – У меня целый день идет носом кровь!

– Наверное, ты его поковыряла, – невозмутимо отозвалась Маня. – Лера тоже так считает.

– Знаешь что? – сказала Вита Моисеевна. – Можешь позвонить Лере и сообщить ей, что я не еду ни в какую Америку и не собираюсь давать ей разрешение на отъезд! И пусть придет эта ее сотрудница и заберет свои сорок долларов за холодильник! Я его уже не продаю!

– Послушай, Вита... – сказала Маня. – Твои дети лучше, чем ты думаешь. Они тебя жалеют и не говорят тебе правду, а я тебе ее скажу! Вот ты на Лерочку обиделась, что она утром к тебе не побежала. Сказала на нее такие слова, что даже повторить нельзя. А у нее утром было давление двести тридцать на сто десять. Вчера она потянула машину стиральную, и у нее такое ущемление нерва, что она не может ни стоять, ни лежать! И температура поднялась. Тридцать восемь и два. Лучше бы она тебе сказала все, как есть. И

пусть на меня Лерочка обижается, пусть на меня Бэтя кричит, но я тебе и главное скажу. Про Америку. Это им профессор велел уехать в Америку, который Сонечке операцию делал. Тебе сказали, что анализ у Сонечки хороший, а на самом деле он плохой. Ее надо увезти подальше от нашей радиации! Поэтому Лерочка и сходит с ума. – Тут Манин низкий голос дрогнул. – Только ты не поднимай панику: операцию сделали удачно, а в Америке ее подлечат...

Странно... Насколько знала себя Вита Моисеевна, ее реакция должна была быть совсем иной. Ей полагалось бы испугаться, заплакать, заломить руки, броситься искать специалистов по своим старым каналам... Она даже растерялась от собственного неестественного спокойствия и стала нарочно растревлять себя. Вспоминала Соню совсем маленькой. Как она учила ее сидеть на горшочке... Как в кафе чужой мужчина подошел к Вите Моисеевне и начал громко восхищаться: какой воспитанный, аккуратный ребенок! Вспомнила, как вела ее в первый класс... Да если б, не дай бог, тогда ей сказали, что у Сонечки это заболевание, она бы...

Но сейчас... То ли ей не верилось. То ли слишком живо стояли в глазах картинки дачной жизни. Вот Соня брезгливо сбрасывает со своего топчана нижнее белье Виты Моисеевны и орет на нее, как какая-то торговка... Вот Соня ехидно перемигивается с матерью, указывая своим острым подбородком на бабушкину цепочку...

Ну да, неловко получилось... Пообещала эту цепочку Соне – и забыла. Но, в конце концов, она ведь не говорила, что отдаст ей цепочку прямо завтра! Хорошо еще, что не подарила ее на свадьбу Анечке... Лерка бы ее со свету сжила. Гарик, дурачок, считает, что у него лучшая сестра на свете. Знал бы, как она следит за тем, чтобы его Анечка, не дай бог, не получила что-нибудь лишнее от бабки!

В конце концов, что ей делать, если у нее две внучки, а цепочка одна? И почему вообще она должна остаться без цепочки?! Почему Гарик не сказал ей: "Мама, ты всю жизнь так тяжело трудилась! Пусть у тебя будет цепочка хоть на старости лет!" Почему надо было мать оскорбить?! "Подавись ты своей цепочкой и перестань девочкам морочить голову! Я уже сам купил Ане цепочку!"

Купил – и правильно! С такой зарплатой уже давно мог это сделать! Кстати, и Соня достаточно зарабатывает. И в школе, и статьями. Почему же надо все забрать у бабушки? Будто она не человек, будто ей ничего не нужно! Хоть ложись и умирай, как ей посоветовала Бэтя. Хотя, в сущности, Бэтя права: чем дольше живешь, тем больше неприятностей... Только этого ей не хватало на закате дней – узнать, что у ее внучки такая болезнь!

И тут-таки она заплакала, заломила руки, как тогда, когда Сонечка упала в детстве с сундука и ей накладывали швы в хирургии, а они с матерью, слыша ее крик, рвали на себе волосы в коридоре...

– Мама, – сказала сквозь слезы Вита Моисеевна. – Ты слышишь, что у нас произошло? Я знаю: у тебя большие заслуги перед богом. Проси его за

Сонечку... Хотя она и свинья! Он тебе не откажет. Ты же была святая! И ты, папа, проси! Хоть ты ее не знал и не дожил до ее рождения! И ты, Натан, проси!

Обращалась она по очереди к ажурной белой шали, висящей на спинке стула, к портрету Натана, стоящему на буфете, к подцепленной сбоку отцовской трости. Это называлось у нее "семейный совет".

И от палки, и от шали что-то исходило, совершенно явное... Почти ответы. А вот Натан молчал. То ли потому, что фотография была плохая... Тяжелый, напряженный взгляд, напоминающий Лерку в ее худшие времена. То ли в самой Вите Моисеевне что-то сбили эти сны про обугленное дерево... Мысленно обращаясь к Натану, она давно уже видела не его, а именно это дерево, сутуло сидящее у стола. Вита Моисеевна так привыкла к нему, что, пожалуй, не испугалась бы, появись оно вдруг и на самом деле.

Она оглянулась. Комната была пуста. Свет от низко висящей люстры падал прямо на стол, на бахромчатую салфетку, на букетик хризантем в хрустальной кружечке.

– Вот сказано в Библии... – всхлипнула Вита Моисеевна. – "Чти отца своего и мать свою, чтобы было у тебя все хорошо!". Уж кому-кому, а вам известно, как я вас чтילה! Да что там чтילה – как я любила, обожала вас! Так я спрашиваю: за что мне такая жизнь? За что мне такие мучения?!

– Виточка! – мягким вкрадчивым голосом отозвалась шаль. – Жизнь как жизнь... А разве моя жизнь была лучше? Что такое ты пережила, чего не пережила я? Те же погромы, и война, и революция, и голод, и снова война... Дотянула даже до этого "дела врачей"! И разве я не овдовела, и разве я не потеряла своих родителей? А Натан? Ты же знаешь, я любила его, как родного сына.

Виту Моисеевну изумила наивность матери, но она постаралась ответить со всем возможным уважением.

– Ну, мама, все-таки ты овдовела не в тридцать с лишним...

– Ви-и-та... – с нежной укоризной кашлянула трость. – Каждому – свое. Все получают поровну хорошего и плохого. Разве мало было у тебя в жизни радости? Ты возьми хоть телевизор! Знала бы ты, как я жалею, что не дожил до телевизора! Включил – и ты не один дома. И столько всего узнаешь! Видишь, что делается в разных концах света. А холодильник? А вода из-под крана – прямо в доме, да еще и горячая! А посмотри, какая у тебя красивая комнатка! Душа отдыхает!

– Так в том-то и дело! В том-то и дело! – воскликнула Вита Моисеевна. – Теперь меня лишают и этой комнатки! Я должна бросить все свои вещи, нажитые годами по одной – и ехать неизвестно куда с Леркой, которая уже разговаривать разучилась и только орет, только орет! Обзывает мои вещи старым барахлом!

– Вита, ты же сама говоришь: у нее ребенок болеет. Помнишь, у тебя в третьем классе палец нарывал и пришлось снимать ноготь – так мы с мамой чуть с ума не сошли! А тут такое дело...

Вита Моисеевна вспомнила про палец и заплакала, наконец, совсем уже по-настоящему – будто скупой редкий дождь перешел в буйный ливень. Не о себе, не о Сонечке, не о сыночке ее Мишеньке, который может остаться

сиротой... О Лерке. Даже представить себе побоялась, что тогда будет с Леркой. Так и пошла вся в слезах включать телевизор. Как раз через минуту начинался ее сериал.

Изображение на экране было нерезкое, испещренное какими-то пятнами и точками. Как всегда. Но тут она вдруг подумала, что раз Гарик наверняка не придет ночевать – не будет беды, если она посмотрит серию по его телевизору, новенькому, цветному. Узнает хоть, действительно ли она такая красавица, эта Клара... Оказалось – дебелая девка, с крупными грубыми чертами. Непонятно, почему в нее все так влюблялись? И серия выдалась неудачная. Одни неприятности! Валентин без сознания в реанимации. Эта мерзавка-кузина к нему пробралась и хочет отключить аппаратуру... И ни одной сестры вокруг, ни няньки! Вита Моисеевна не выдержала и закричала: “Что это у вас в Бразилии за больницы такие?! Где персонал? У вас же больного вместе с кроватью можно вынести!”

Так расстроилась, что по рассеянности съевала несколько орешков и два печенья – прямо под рукой лежали. И тут же ей ясно представилась Леркина злорадная ухмылочка, отчего всю жалость к ней как ветром сдуло!

Ну и что? Ну и съела пару орешков мать, которая шесть лет стояла раком на китайской границе, чтобы вырастить тебе редисочку! И ни одной не попробовала сама! Так что в пятьдесят лет у нее все зубы были искусственные.

И ты еще, наглая, ждешь, что после таких оскорблений мать будет отдавать тебе московские батоны и яйца?! У вас тоже есть друзья в Москве. Вот пусть они вам и передают “чистые” продукты для внука!

Нет! Такого ужаса родители ее все-таки не пережили... Они бы такого и не поняли. Выходишь из парадного – утро райское, все цветет, зеленеет. Весна роскошная, как никогда! А навстречу тебе бежит соседка и кричит: “Вэртайтесь в дом, Вита Моисеевна! В Чернобыле реактор взорвался и весь атом летит на нас! Хуже, чем бомба!”

Счастливые люди! Прожили жизнь и не знали, что такое “Чернобыль”, что такое “радиация”. Не знали они, каково это – когда ешь со страхом яблочко или листик петрушки, когда открываешь форточку – и чувствуешь, как свежий воздух вливается тебе в легкие... а ты думаешь: что там, в этом глотке воздуха? Не он ли станет причиной твоей смерти?

Да если бы не Вита Моисеевна, они бы и ребенка оставили в зараженном городе! Это она подняла шум, потребовала вывезти из Киева хотя бы Мишеньку. Подумаешь – “уволят с работы”! Нашли бы другую работу! Был бы жив отец Виты Моисеевны – он бы всю семью отправил подальше! Не дожидался бы, пока начнется паника. С ним бы не стали спорить. А Вита Моисеевна... Что ж, над ней все только насмеялись – и дети, и внуки. Звонили и с ехидством докладывали: “Ну, слыхала? Пожар на реакторе погасили! А ты уже готова была удирать в чем стояла! Что ты шум поднимаешь? Ты что, телевизор не смотришь, не слушаешь радио? Неужели ты такая Складовская, такой Жолио Кюри, что понимаешь больше, чем профессор-ядерщик?” “Да! – сказала им Вита Моисеевна. – В жизни я понимаю больше, чем ваш профессор!

Мой папа не рассуждал... Все бросил и всего лишился! Но зато я вернулась домой целая и невредимая! А ученый Лурье боялся оставить свою газету! И Сендерович доказывал всем, что в нашем городе погром немислим. И что же? Лурье остался без головы, а у Сендеровича пьяные бандиты забрали дочерей, чистых интеллигентных девочек – и надругались над ними!“

Слава Богу, Вита Моисеевна не стала выслушивать дальше их гнусные шуточки. Оформила отпуск, купила билет на Москву, спокойно села в вагон на свое место. Без давки, без крика... В тот день на вокзале людей было даже меньше, чем обычно, и все делали вид, что едут просто по каким-то своим делам. Вот и Вита Моисеевна сказала попутчикам, что в Москве собираются выпускники ее гимназии. А правнука она взяла с собой, чтобы показать его старым друзьям. И никого вроде бы не удивило, что дама далеко за семьдесят тащит на встречу с одноклассниками двухгодичного капризного ребенка.

Да... Он ей все нервы вымотал, правнук ненаглядный! Сначала не хотел есть Леркину гречневую кашу. Действительно, невкусную. Потом стал выплевывать вкусный салат Виты Моисеевны. Первый салат, зелененький, с крутым яичком и парниковым огурцом! Но Вита Моисеевна его заморочила... Будто он козленок, а она – бабушка-коза. Мекала на все купе, так что он съел весь салат и еще немножко каши.

А потом гордая одержанной победой Вита Моисеевна отправилась мыть банку и услышала, как какая-то женщина шепотом объясняет другой, что нельзя ничего покупать на улице. Что продукты, простоявшие несколько часов на открытом воздухе в ящиках, несомненно, заражены, и отмыть их невозможно, Надо срезать с них верхний слой. И то – после мытья и просушки, потому что вода тоже заражена. У Виты Моисеевны сердце оборвалось: она вспомнила, как утром выбирала из ящика зеленые гофрированные листья и еще изумлялась, что за такой прелестью не выстроилась очередь. А потом несла свой салат, как букет: жаль было мять в кульке такую красоту...

В районе Брянска, не называя вещи прямо, решили, что отъехали достаточно далеко от опасной зоны, и стали открывать окна. Поди знай, что как раз в это время над брянскими лесами расстреливали идущее на Москву облако! А Вита Моисеевна поставила внука на приступочку, поближе к свежему воздуху. И сама вдыхала с жадной взволнованной печалью. Будто слушала оркестр запахов: дыхание остывающего к вечеру леса, влажных трав, случайных прудиков у самой обочины, истлевшего сена, костра, коров, печальных и заброшенных под высоким темнеющим небом. Ребенок встречал их восторженным криком, никого из попутчиков не умилявшим.

Вита Моисеевна впервые была с ним наедине и вообще столь длительное время. Увы! Она должна была признаться себе, что этот ребенок вообще не из тех, кто вызывает симпатию у посторонних людей. Не то что Лерка с ее бантами или сладенький Гарик, Анечка, Соня. Вроде и нет никакого дефекта... Он был обыкновенный, а Вита Моисеевна воспринимала это как инвалидность. Бэтя, подруга дорогая, вечно злилась: "Почему твои дети, твои внуки должны быть лучше других? Почему тебе надо, чтобы все ими восхищались?" Значит, надо. Тебе не надо – это твое право. Откровенно говоря, Бэтиных детей только и можно было похвалить за какую-нибудь вещицу: туфельки там... или шапочку.

И Вите Моисеевне обидно было сознавать, что Сонечкин ребенок получился такой же.

Она почти не удивилась тому, что друзья, встречавшие ее на безлюдном Киевском вокзале, обращались с Мишенькой бережно, но равнодушно. Будто он был лишь частью багажа – как сумка или чемодан. Все свое внимание они сосредоточили на Вите Моисеевне. Только и слышно было: “Вита не меняется! Вита, как всегда, самая элегантная!”. Она даже почувствовала себя как бы виноватой...

Что делать! Не выдержала... Всю дорогу от Киева до Москвы она представляла себе, как выйдет из вагона – в черном платье, печальная, подавленная... Но когда пошли за окном знакомые московские пригороды, Вита Моисеевна взволновалась, забыла вдруг, зачем едет в Москву. Распаковала чемодан, переделалась в свой новенький светло-серый костюмчик, а в последнюю минуту успела даже припудриться и подкрасить губы... Так что спустилась на перрон не испуганная, не взлохмаченная...

Она шла с букетом, а рядом, перебивая друг друга, Федя Мусатов, Фима Юдович, Петя Готлиб и Яша Готлиб наперебой рассказывали ей последние новости. Все такие веселые, такие возбужденные! И так это все напоминало ее молодость, ее шумные наезды с Дальнего Востока, что она даже вздрогнула, когда увидела в витрине свое отражение.

Впрочем, Виту Моисеевну отрезвление почти не расстроило. Вот Бэтя сразу начала бы бурчать: “Боже, во что я превратилась! Морщины возле рта, как у мужика, щеки повисли, как у бульдога! И пятна, как на жабе, и шея, как у индюка!” Это у нее называется “быть объективной”.

Или Маня... Та вообще подходит к зеркалу, только чтобы пыль с него смахнуть.

А Вита Моисеевна увидела себя в витрине и подумала: “На свой возраст я выгляжу просто замечательно!” Тем более, что у нее не было никаких пятен. И глаза у нее тоже совершенно не изменились. Не то что у Бэти: действительно, какие-то мятые шторы над глазами! Да и у Мани глаза не ахти! Завалились в мозги, веки коричневые, дряблые, еще и левый слезный канал забит! А у Виты Моисеевны веки гладкие, чистые! Подбровья, как у девушки! Ресницы, правда, то ли поседели, то ли вообще куда-то делись... Но и без них красиво. Глаза по-прежнему светло-серые, ясные. О костюмчике и говорить нечего! В молодости она о таком и не мечтала!

Короче, шла Вита Моисеевна, и одно только ее огорчало: что Лерка ничего этого не видит. И не слышит, как все эти профессора, журналисты, математики поют дифирамбы ее матери. Не видит, как Канторович открывает перед ней дверь зеленой “Волги”. Как она едет на дачу по просторному шоссе. Как Петина Катя, и их кудрявая седая дочка, и их близнецы-правнуки выбегают ей навстречу, как они целуют Виту Моисеевну! Как хозяйка дачи с детьми вышла смотреть, кого это ее жильцы так ждали, для кого так старались?

В комнатке Виты Моисеевны все уже было чистенько застелено. Стол на веранде стоял накрытый, а среди тарелок белела ваза с цветущей вишневой веткой. И Ося Канторович посмотрел на Петю Готлиба: что, дескать, не

забывается первая любовь? А Петя только улыбнулся еле заметно и легонечко кивнул...

И так все пошло у нее хорошо! За каких-то пару дней ребенок округлился, порозовел! Выучил четыре стихотворения! По вечерам ходили с Готлибами гулять до сельмага, вдоль дамбы... Мишенька пьянел от свежего воздуха и мгновенно засыпал.

Лерка приехала и диву далась, когда его увидела. “И как тебе это удалось?” – “Обыкновенно. К ребенку терпение нужно”, – со скромной назидательностью отвечала Вита Моисеевна.

Несколько дней Лерка вела себя по-человечески. Убедилась в том, что мать была права. Что уезжать следовало сразу, до паники. Сама-то она еле протиснулась в поезд и всю дорогу сидела. Приехала мятая, глаза вытаращенные, щеки в красных пятнах. “Ты и представления не имеешь, что там сейчас делается! На вокзале давка, хуже, чем в начале войны! Детей через головы передают, просовывают в окна! Билетов уже никто не проверяет – кто может, тот и пробивается. Нас на одной полке сидело четверо. Я только Бога благодарил за то, что успела ребенка отправить до всего этого!”

Ну? Как вам нравится?! “Она” успела! Вита Моисеевна еле удержалась, чтобы не напомнить Лерке, как она обзывала мать сумасшедшей и паникершей. Сказала только – и то не Лерке в укор! – что надо было увезти и Сонечку. Господи! Какой она открыла рот! “Сонечка принимает выпускные экзамены! Дети должны поступать в институт!” Хорошо, что рядом оказались Готлибы. Лерка заметила, как они переглянулись, и замолчала. Ну, еще пару раз выражала там свое неудовольствие... Когда Вита Моисеевна выбиралась в Москву. Ей, видите ли, тяжело “одной с ребенком!” А как же справлялась с ним Вита Моисеевна? И какое твоё дело, зачем мать едет в Москву?

– Ты не спектакли едешь смотреть, а наряды свои показывать! Сколько ты платьев набрала? Когда уже ты свой ассортимент исчерпаешь?

Вита Моисеевна на это спокойно ответила, что ей не нужно ехать в театр, чтобы надеть хорошее платье. Лерка стала хохотать, как Мефистофель. “Уж это точно! Уж это точно! Ты и в сельмаг напялишь золотую цепочку! И за молоком идти – нагладишь свои манишки, чтобы корова похвалила твой тонкий вкус!”

Кто бы уже тут удержался? Кто бы ей на это не ответил? Вот и Вита Моисеевна не выдержала. “Да! Я думаю, что даже корове приятнее видеть мою манишку, чем твой драный халат! Ты же выбросить его собиралась! Что же ты его в Москву притащила? Ты вокруг посмотри! Какой луг, какие деревья! Какие цветочки под ногами! Какое облачко на небе! Кто же тебе дал право портить всю эту красоту своим замызганным халатом?!!”

Вот и все, больше ничего такого не было. Пока не приехала Соня.

Вита Моисеевна так радовалась ее приезду! В первый день Соня возилась с ребенком, без конца повторяла, что его узнать нельзя. “Бабушка, ты волшебница!”

На следующий день Готлибы устроили грандиозный праздник. Собрали земляков. Всех, кто не умер и не уехал за границу. Внук Феди Мусатова договорился на работе, и ему на весь день выделили автобус. К десяти утра он

привез на дачу всю компанию. С салатами, с холодцом и разными деликатесами, которых даже в Москве без блата не достанешь.

Кое-кто приехал с детьми, внуками и правнуками. Но не потому, что по немощи нуждался в сопровождающих. Слава Богу, все крепко держались на собственных ногах! Энергичные, бодрые. Многие еще работали! Даже Рома Бронфман, старший из них. Сам он уже не оперировал, но продолжал преподавать и консультировать. В молодости они с Витой Моисеевной были не так уж близки. Рома дружил со старшим братом Натана. Но после войны, когда их осталось так мало, образовалась одна общая компания, большей частью осевшая в Москве. Причем каждый москвич считал своим долгом красиво принять земляка, сводить его к лучшим московским врачам, на Таганку и в Третьяковку. Но такого, чтобы собрать всех вместе, не бывало, кажется, никогда. Все были просто счастливы и наперебой благодарили Виту Моисеевну.

Стол накрыли во дворе под яблонями. Погода была изумительной. Пахло лугом, деревней. Видно было, что и молодежь довольна.

Поначалу Сонечка оказалась в центре внимания. От нее ждали каких-то особых новостей, но то, что она рассказывала, было уже всем известно. Почти у каждого имелись родственники в Киеве. В пионерлагерь, где хозяйкина дочь работала диетсестрой, завезли “чернобыльских” детей, и те творили там черт знает что. А на малейшее замечание нагло заявляли, что облучены, а потому долго не протянут и хотят побольше успеть в этой жизни. Майя Мусатова рассказала, как ей пришлось выбросить ведро клубники, привезенное сестрой из Житомира. В институте клубнику проверили на радиоактивность, и она “зашкалила”. Кто-то возмущался бабкой, которая обманывала на базаре покупателей: “Та вы що, нэ з Києва мы, нэ з Києва! Моя клубничка з Борысполя!” И все вместе бурно радовались тому, что радиоактивное облако не дошло до Москвы.

Эту их столичную радость Вита Моисеевна находила не вполне приличной. Впрочем, мелкие бестактности терялись в общем обилии тепла и нежности. Как хорошо сиделось, как хорошо говорилось! Только в старости и можно позволить себе такую откровенность! Да еще после рюмочки дорогого коньяка.

Начал Петя Готлиб.

– Я хочу выпить за Виту! За первую любовь, которая никогда не забывается! Если бы ты знала, Вита, как я тебя в детстве любил! Помню, Гриша покойный (мы тогда спали на одной кровати) спрашивает: “Что ты все крутишься? Что ты все вздыхаешь? Спать невозможно!” ”Знаешь что, Гриша... – отвечаю. – Я Виту люблю!” “Ну и что? – он спрашивает. – Ее и Натан любит, и Милька, и Фимка, и Женя Кузьмин!” “Что же мне делать?” – я спрашиваю. “Ничего, – говорит. – Любить!”

Вита Моисеевна с трудом удерживалась, чтобы не взглянуть в Леркину сторону.

– Кто из нас не был влюблен в Виту! – подхватил Фима Юдович. – Это же была наша городская Уланова!

– А я вам скажу, – перебил Рома Бронфман, – что я и от Улановой такого удовольствия не получал! “Цыганочку” помните? Щечки эти пухленькие с ямочками помните? Ее же съесть хотелось!

– Правильно делал Натан, что гонял меня... – вздохнул прилично захмелевший Фима Юдович. – Я-таки всегда мечтал ее отбить!

Жена его – третья, косметичка – сидит, улыбается через силу.

– Может, Вита, ты нам и сейчас “цыганочку” станцуешь? – предложил Бронфман. Поднялся и начал хлопать. А за ним и все остальные.

Ну, “цыганочку” – не “цыганочку”, а танго Вита Моисеевна станцевала... Со всеми по очереди. И с Петей Готлибом, и с Фимой Юдовичем, и с Яшей Готлибом, и с этим, с Леней Дубинским, который описался на уроке каллиграфии.

Потом снова сели за стол, ели курицу по какому-то грузинскому рецепту и голубцы по какому-то армянскому. Вкусные, но, честно говоря, Вите Моисеевне больше нравились обычные, такие, какие делали у них в городе. Она даже не выдержала, прямо так и сказала. И все ее поддержали.

– Я еще помню, Вита, – сказал Яша Готлиб, – как твоя мама передавала в кастрюле голубцы, когда я ехал в Киев в командировки. А потом я возвращал ей эту кастрюлю и докладывал, как вы там в Киеве живете.

– Какие мы были глупые! – подхватил Петя Готлиб. – Молодая пара, жили в одной комнатке и каждый раз у них кто-то оставался ночевать! Помню, как-то я лежу и слышу шепот: “Нет, Натан, неудобно!” – “Да он уже спит!”.

Все расхохотались, только Лерка – самая “интеллигентная” – поджала губы.

– Естественно, нас тянуло к ним! У них в любой конуре был такой уют, что не хотелось уходить!

– А помните ее наряды? Когда они приезжали к родителям Натана, весь город спешил посмотреть! Это же у нас было, как демонстрация последних мод в доме моделей! Даже в самые тяжелые времена! И ведь ткани были самые простенькие, но сшито было с таким вкусом, с такой выдумкой!

– А как она одевала ребенка? Какие она ей укладывала локоны! Такая всегда была холеная девочка! А помните, как Вита ставила ее на стул, и она стишки читала? Помнишь, Лера? “Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саковяз...”

Тут все стали наперебой вспоминать этот “саковяз” и даже Леркины интонации, и как она сказала Юдовичу: “Забери свои мандарины, потому что я больная и все равно не буду тебе рассказывать стихи!” И как Лерка трехлетняя потерялась на вокзале, и ее искала милиция. И как она сказала Пете Готлибу: “Дядя, я поймала бывшую божию коровку!” – поскольку в детском саду ей объяснили, что бога больше нет.

Вита Моисеевна посмотрела на дочь – и даже вздрогнула: неужели это та Лерочка, которая бегала в белых трусиках по газону и ловила бабочек?! Вся какая-то тяжелая, квадратная, лицо неприветливое... Даже улыбка ничего не исправляет. А помада какая! Главное, к платью совсем не подходит, к блекло-синему! Ну, положим, ткань еще ничего. Но как сшито! Ни одна женщина за столом не одета хуже! Вырез кривой, вытачки торчат сверху из-под мышки,

рукава морщат, проймы тесные... Предлагала же ей Вита Моисеевна: “Давай, я пойду с тобой на примерку”. Нет! Ни за что! “Ты над портными измываешься! Они тебя ненавидят и все тебе делают назло!” Ну что ж... зато Лерку они любят! Сразу видно: постарались для нее...

Впрочем, в тот вечер Вита Моисеевна как-то не очень думала о Лерке. Ей вообще не думалось ни о чем плохом. Давно уже она не бывала так счастлива! Все было прекрасно: и люди, и погода...

Никому не хотелось уезжать домой. Собираться стали, когда совсем уже стемнело. Перед тем, как сесть в автобус, каждый попрощался с Витой Моисеевной. Целовали ее, приглашали в гости.

Честно говоря, Вита Моисеевна надеялась, что после такого вечера Лерка что-то поймет, изменит свое отношение к матери. Собственно, в тот день они с Леркой друг другу и двух слов сказать не успели. И никаких замечаний Вита Моисеевна ей не делала. Тем более, что после отъезда гостей Лерка с Соней остались в саду, а Вита Моисеевна поспешила в комнату. Достала из сумочки фотографию и поставила на подоконнике, так, чтобы ее освещала лампочка с веранды. “Ну вот, – тихо сказала Вита Моисеевна. – Я танцевала весь вечер, я пользовалась успехом. Ну и что с того? Что у тебя ubyло? Вот ты за мной уже сорок пять лет не следишь, и я могла бы делать, что хочу. И что? Много раз я тебе изменила? А ты меня чуть не гулящей считал! Засады на меня устраивал! Всю молодость отравил – и себе, и мне!”

Ей показалось, что выражение лица у Натана стало немножко виноватым. Она заснула быстро, полная светлых надежд на завтрашний день.

И что же? Наутро Соня устраивает ей разгон. Поднялась ни свет ни заря, вымылась, оставила после себя громадную лужу на веранде, а когда Вита Моисеевна стала ее вытирать (без единого упрека, между прочим!), вдруг заорала так, что чуть не повылетали стекла. “Я тебе не мама! Я тебе не позволю над собой издеваться! Хватит того, что ты маме и дяде Гарику век укоротила!”. И слышно, как в комнате начинает реветь в голос Лерка. Плюс хозяйская собака разошлась под дверью.

Вита Моисеевна стояла с тряпкой и никак не могла понять, чего, собственно, Соня от нее хочет. Но на всякий случай уточнила, что эту комнату сняла она, Вита Моисеевна, за свои личные деньги. Что, отправляя с нею ребенка в Москву, никто не поинтересовался, есть ли у нее на что купить ему молоко или кусочек мяса.

– Не беспокойся! – совсем уже завизжала Соня. – Я тебе все до копейки возвращу, когда получу отпускные! купишь себе тридцать пятое платье! Ты одна получаешь больше, чем папа с мамой, вместе взятые! Могла бы и помочь своей дочке, подарить ей приличные туфли! Жалко, что я вчера не рассказала твоим старичкам, какая ты преданная мать! Как ты двум внукам десять лет дарила одну цепочку – и в результате себе оставила!

– Что вы все готовы мне перегрызть горло за эту цепочку?! Сколько вам надо цепочек?! А мне, может, эту цепочку придется когда-нибудь отдать человеку, который будет за мной ухаживать! На вас надежды нет! Потому я и вынуждена в таком возрасте ездить тремя транспортами на работу! Чтобы иметь собственную копейку на старость! А не для того, чтобы твоей маме туфли покупать! У нее есть муж! Пусть возьмет в школе лишнюю нагрузку – и покупает, что ей нужно! Ты спроси у него, у своего папочки, как она была одета, пока жила на моем иждивении! Как куколка на витрине!

Тут Лерка выбегает на веранду в розовой комбинации с бретельками, накрученными на черные бретельки лифчика – ушить их, видно, тоже денег не хватает.

– Соня! На кого ты тратишь свои силы?! У нее же маразм! Она же сама с собой разговаривает! Иди-иди, устрой свой семейный совет! Расскажи своему мужу, как ты, старуха бесстыжая, кокетничала вчера целый день и меняла три раза наряды! И это в то время, когда все твои родные подвергаются такой опасности! Ты же забыла, почему ты приехала сюда! Там люди несчастные не знают, куда им деваться! Солдатики голыми руками сбрасывают с реактора всякую гадость! Пожарники, мальчики молоденькие, уже гниют заживо в больнице! А ты – старуха – строишь глазки и танцуешь!

Вита Моисеевна просто опешила.

– Так что? Получается, я виновата, что не полезла тоже на крышу реактора?! А ты не знаешь, случайно, Лера: может, там был и тот парень, которого ты перед всем классом опозорила из-за грязных носков?

У Лерки аж голос пропал.

– Падаль, – хрипит, – падаль...

И после этого они ждали, что она будет отдавать им продукты, которые ее друзья, старые люди, покупали, отвозили на вокзал, платили проводнику, а она перед работой должна была успеть встретить утренний московский поезд! Вам нужны чистые продукты для ребенка? Пожалуйста! Договоритесь, заплатите, поднимайтесь в шесть утра. Пусть ваш недоучка-зять сходит один раз в неделю вместо тенниса на вокзал. Вите Моисеевне тоже не хотелось вставать в такую рань! Ей тоже неловко было “затруднять людей“! Но что делать, если она ничего киевского не могла есть? И вкус какой-то не такой, и запах подозрительный... Посмотришь на муку, приставшую ко дну батона, на блески по срезу колбасы – и спазмы горло сжимают. Думаешь: вот это оно и есть... Этот самый цезий и стронций...

Неизвестно вообще, чем бы это все для Виты Моисеевны кончилось, если бы не началась чехарда с перестройкой. Сначала исчезли продукты в Москве, и Вита Моисеевна стала передавать в Москву радиоактивный сыр и сахар. А потом вообще пошли эти съезды по телевизору... После съездов начались сериалы... Весь день как на иголках: найдет она своего украденного ребенка или нет? А какие стали делать передачи! Сколько появилось талантливых,

умных людей! Бывало, смотрит Вита Моисеевна на этих трех мальчиков из “Взгляда” – и сердце аж зайдет! И не может решить, который из них самый красивый. В Молчанова она просто влюбилась. Он чем-то напоминал ей Александра Кузьмича, когда тот еще не развелся с Ольгой Порфирьевной. Особенно его речь. Такой благородный, интеллигентный голос!

А главное – о чем говорили. Каких людей вспомнили! Вита Моисеевна слушала знакомые с детства имена Бухарина, Раскольников – и ощущала приливы гордости, будто речь шла о ее близких родственниках.

Наконец-то стали называть вещи собственными именами. Говорили, в сущности, то, что все и так знали – но не шепотом говорили, не в очереди, не на лавочке в садике. А во всеуслышанье, с экрана! Как все плохо! В медицине! В промышленности! В сельском хозяйстве! В соцобеспечении! Пенсии маленькие! Продуктов нет! Но как приятно было, что перестали делать из тебя дурака!

А трансляция съезда была еще интереснее всех других передач! Надо же: смотрели съезд с утра до вечера! Каждое выступление обсуждали! Вита Моисеевна оставляла открытой дверь туалета, чтобы чего-то важного не пропустить! Ела под телевизором. Прихватит из кухни кастрюльку с кашей и сама не заметит, как ее съест. Разварилась – не разварилась, пригорела – не пригорела... Вите Моисеевне было все равно. То и дело звонила Бэте. “Ты слышала, что сказал Попов? Ты слышала, что сказал Собчак? Какой умница! А какой умница Власов?! Недаром я его всегда любила! Я на его лицо равнодушно смотреть не могу! Знаешь, на кого он похож? На Мишу Ройтмана! Правда? Такой же интеллигентный!” Голос у нее срывался от восторга. И так же радостно была возбуждена Бэтя. Даже Маня малахольная – и та говорила: “Ну, теперь-то все пойдет по-другому!”

Казалось, это светлое пробуждение вот-вот брызнет с экранов в дома, на заводы, на прилавки. “Помнишь, Бэтя, – ликовала Вита Моисеевна, – как папа говорил: “Надо только позволить частную инициативу – и через неделю страну завалят товарами!”

Да-а... Чудесное было время. Будто открыли окно – и оттуда дохнуло свежим воздухом...

А потом потихоньку и мусорником повеяло.

Лерка – это ж надо быть такой мерзавкой! – еще и растравит, ткнет пальцем в больное место. “Ну что? Читала статью твоего обожаемого Власова? Слыхала, что говорят про твоего ненаглядного Собчака?” Мужа своего науськала. “Вита Моисеевна! Деньги обесцениваются! Давайте снимем с книжки ваши сбережения и купим домик в селе”. Зачем? Что ты при твоем геморрое будешь делать с этим домиком, с этой землей? К земле хорошие руки нужны, а не голос Левитана.

Снова звонит. “Вита Моисеевна! Возьмите все свои деньги и купите нормальный телевизор!” Здрасьте! Взять деньги, за которые можно было купить домик – и выбросить их на какой-то телевизор! И слышно, как Лерка ему кричит: “Да брось ты! Она ни черта не понимает про инфляцию! Пусть у нее все пропадет! Будет ей наука!” А потом уже сама звонила. Как подскочат цены в очередной раз – она тут как тут. “Пойди, возьми эти деньги и купи себе сапоги

без каблучков!” “Пойди купи на все деньги мыло и стиральный порошок!” Причем – с издевочкой, со злорадством...

Конечно, Вита Моисеевна уже поняла, что совершила глупость. Если бы она знала заранее, что такое случится, она бы и на дом согласилась, и даже на телевизор. Может, и Лерку бы придела... Хотя нет! Все-таки не стоило тратить трудом и потом заработанные деньги на змею, которая поднимает мать в восемь утра и сообщает, что ее сбережений хватает теперь как раз на сырок в шоколаде!

Вита Моисеевна думала, что Лерка обманывает ее нарочно, чтобы позлить. Оказалось – нет. И такая досада взяла Виту Моисеевну, что она пошла в сберкассу, сняла все деньги и купила себе молочные сосиски, две пачки песочного печенья и сырок в шоколаде. С изюмом. Сырок оказался не совсем свежим, но Вита Моисеевна давно не покупала себе ничего вкусного! Она ела сырок благоговейно, крошечными кусочками, как мороженое, радуясь, что не выбросила эти деньги на Лерку и вот теперь может себе доставить такое удовольствие. И безразлично ей было, есть ли там цезий и стронций. Не чувствовала она ни опасных запахов, ни сомнительных привкусов, ни угрызений совести. Более того, Вита Моисеевна трезво сознавала, что если бы сейчас увидела в окне Соню с ребенком, то завернула бы этот сырок во что-то непрозрачное и засунула бы в дальний угол холодильника. Она вдруг вспомнила, как когда-то Натан тщетно уговаривал ее съесть мандаринку, и не ощутила прежней гордости. Даже горько пожалела, что не послушалась его. Надо было съесть.

– Ну, что? – обратилась она к портрету. – Теперь ты доволен моим поведением?

Ей показалось, что выражение его лица изменилось. Стало более удовлетворенное.

Зато отцовская трость... Что-то в ее ручке дополнительно изогнулось. Кажется, она даже качнулась горестно. А шаль на спинке стула вздохнула совершенно явственно. Дескать, не узнаю тебя...

Вообще, как ни странно, именно шаль была особенно строга с Витой Моисеевной. Казалось бы, мать – такая мягкая, такая ласковая... Ни разу голоса на нее не подняла. А во всех этих спорах всегда принимала сторону детей! Старалась их выгородить. “Вита, подумай! Это же наша Лерочка! Помнишь, как она то, как она это...”

Помню, помню... Как она меня на юбилее Гарика смешивала с грязью... Как она в день рождения Мишеньки строила из меня идиотку... Я тебе скажу, мама: в последние годы каждая встреча с ними – исключительно повод для скандала. Лучше всего было бы с ними вообще не встречаться! Но не могу же я совсем порвать отношения с собственными детьми!

Да, прерывать, конечно, нельзя. Но идти к Лерке в такой неподходящий момент тоже было глупо. Ведь знала, знала, что Лерка бесится из-за пропавшей метрики.

Надо же! Вдруг выясняется: в городском архиве нет данных о том, что мать Виты Моисеевны – еврейка! А отсюда вытекает, что и Вита Моисеевна – не еврейка. А значит – и Лерка, и Соня, и Сонин ребенок – все они неизвестно кто. Каково? Лерка орет, что из-за этого у них в Америке будут большие сложности. И во всем, конечно, виновата Вита Моисеевна.

Как погром – так Вита Моисеевна еврейка. Как на работу устраиваться – еврейка! Или детям поступать в институт! А как в Америку ехать, так еврейка – Лида из сорок второй квартиры: заплатила кому-то в сельсовете – и сделали из нее еврейку!

Но Вита Моисеевна в чем виновата?! А Лерка аж посинела от крика. Хоть бросай все и сама поезжай искать какой-нибудь сельсовет, где тебе продадут фальшивую метрику! Или упади тут же замертво, чтобы твои документы не нужны были. Уже и зять за голову хватается: “Лера! Лера! Что с тобой происходит?!” Уже и Соня просит: “Замолчи, мама. Ну что тут такого? Скажем, что бабушкины бумаги пропали во время войны”. Не слушает! Волосы лохматые, дергается вся! Прямо видно, как ей хочется, чтобы у всех все развалилось из-за Виты Моисеевны! И вдобавок еще старается Гарика накрутить. “Ну давай, давай, скажи уже, что это Гарик у тебя ее украл! У тебя же все воруют! Сама потеряешь или засунешь черт знает куда – а людей ворами обзывает! У тебя же склероз!”

Тут на нее уже и чужие зашикали. Родители Сониного лодыря, подружка-химичка... Но Лерку разве остановишь? “Да-да! У нее маразм! Она же Гарика Натаном называет! Она разговаривает с дедушкиной палкой и драным вязаным платком! Честное слово! Спросите у нее сами!”

Вита Моисеевна хотела ответить Лерке достойно. Поднялась, открыла рот... Но то ли она плохо спала в ту ночь, то ли так подействовала на нее капля импортного ликера... Привычной энергии в груди не оказалось, и она сказала тихим голосом, слегка вибрирующим от волнения – так вибрирует поставленный вертикально лист жести.

– Да, я разговариваю с палкой и с шалью. Но не потому, что я выжила из ума. Просто говорить мне больше не с кем. К сожалению, и палка молчит, и шаль молчит. Но я сама знаю все, что они могли бы мне сказать по любому вопросу. А Гарика я действительно иногда называю именем вашего отца, потому что, во-первых, он теперь очень похож на Натана, а, во-вторых, я о Натане все время думаю...

И тут в комнате стало так тихо, как в театре, когда великая актриса произносит свой коронный монолог. Кстати, и выглядела Вита Моисеевна ну просто прекрасно! На ней был сиреневый костюмчик, который она купила когда-то в уцененке, но не могла носить, поскольку он был на нее узковат. Но от всей этой Америки она настолько усохла, что костюм стал на нее как раз, и кремовая блузочка снова сходилась на груди. Вита Моисеевна так накрахмалила, так нагладила ее, что она казалась купленной только вчера. А черная овальная

брошь, дырку в которой удалось очень удачно заклеить жемчужной пуговкой, придавала Вите Моисеевне значительность почти мхатовскую.

И она продолжила на этой же волне вдохновения:

– Но что поделаешь! Я действительно все теряю! Я потеряла мужа, потеряла самых лучших на свете родителей... Я потеряла свой родной дом, за которым я до сих пор плачу, как за близким человеком... Я потеряла детей. Куда он делся, этот мальчик, который ждал меня весь день у окошка, пока я рубила в лесу дерево и тащила его в санях сама – вместо лошади?.. Где эти глазки преданные, где эти белые ладошечки?! Где моя кудрявая дочечка, которую я в миске купала? Где эти пяточки-лодыжечки?!

И Вита Моисеевна скользнула по комнате невнимательным, отчужденным взглядом, будто и не надеясь увидеть знакомое лицо.

– А я сама где? А от меня что осталось? – начала было Вита Моисеевна и замолчала. Она не нашлась, как, собственно, продолжить, но выглядело по-иному: так, будто она собиралась сказать нечто самое важное, но решила, что не стоит. И как-то очень благородно махнула при этом рукой. Прошла через всю комнату в неловкой, виноватой тишине. Но тут, когда Вита Моисеевна нагнулась за своей кошелкой, с ней произошла досадная неприятность... А когда она выпрямилась – еще раз. И кто-то из присутствующих женщин сдавленно прыснул.

В последнее время такое случалось с ней нередко, и Вита Моисеевна смирилась, научилась сейчас же о подобных конфузах забывать. Но в данном случае забыть не получилось. Она шла к автобусной остановке и думала: как было бы хорошо позвонить какому-нибудь доброму и умному человеку, который сумел бы ее успокоить. То есть Бэтя именно так бы ей и сказала: “Большое дело! Не бери в голову!” Но дальше обязательно бы прибавила: “Все давно привыкли! Ты уже несколько лет трещишь...” И закончила бы каким-нибудь нравоучением: “Вот поэтому мы, старики, должны знать свое место! Чем меньше ты будешь делать замечаний, тем больше тебе простят. Они не на тебя злятся, а на свое собственное будущее”.

Нет. С Бэтей в такой ситуации делиться не стоило. Еще глупее было бы обращаться за сочувствием к Мане. Та бы стала выяснять: “А что ты сегодня кушала? Винегрет? Значит, тебе нельзя кушать много винегрета... Гречку? Значит...”

Бэте она все-таки позвонила. О конфузе своем не рассказала, удержалась. Начала с главного.

– Можешь меня поздравить! Я уже никуда не еду! Я им нужна была ради льгот, а теперь, без документов, мне ничего не дадут, и меня уже не хотят брать!

Конечно же, Вита Моисеевна зарыдала, а Бэтя, конечно же, стала ее отчитывать этим своим свежим голоском:

– Не понимаю! Вчера ты плакалась, что тебя тянут силой, срывают с обжитого места... Что ты устала всю жизнь мотаться туда-сюда... Что у тебя никогда не было ничего дороже этой комнаты. Что им нужно продать твою квартиру, и поэтому тебя тащат с собой! Ну вот! Радуйся! Теперь ты можешь

остаться в своей квартире! Пусть себе едут, а ты будешь полировать медные ручки и стирать занавесочки!

– Только от тебя, Бэттичка, стоило бы удрать в первую попавшуюся Америку! – воскликнула в сердцах Вита Моисеевна и, как всегда (хоть и обещала себе много раз больше не делать этого), бросила трубку. Размазывая слезы, она направилась к окну, где обычно возвращала себе душевное равновесие.

Оказалось, что за всей этой суетой она упустила одну из главных своих радостей – цветение вишни. Деревья под окном уже начинали осыпаться.

– Как же это вышло?! – всплеснула руками Вита Моисеевна. – И именно сейчас! Ведь я уже, наверно, никогда больше не увижу, как вы цветете! Вишенки мои!

Вита Моисеевна сама не знала, о чем плачет. Чего больше боится. Остаться и зависеть от доброй воли соседей, которые требуют по два раза деньги за купленную булку... От этой стервозы зависеть, от участковой врачихи, которая считает, что после шестидесяти лет любая болезнь – нормальное явление, и нечего себя утруждать, тратить время на Виту Моисеевну. Видеть ее бесцветные скучающие глаза, когда она тебя выслушивает или измеряет давление. Терпеть, когда она по-хамски тебя перебивает: “Давайте скорее и по существу!” Будто Вита Моисеевна в чем-то виновата, будто она занимает чье-то место в этом мире и срочно должна его освободить...

Еще страшнее казалось уехать и попасть в полную зависимость от бесноватой Лерки... Но в этом случае появлялась хотя бы какая-то перспектива. Уже само слово “Америка” требовало активного действия, как бы наперекор ходу времени. Проводы, цветы, путешествие на самолете, чужая страна, отбор необходимых вещей, обновление гардероба, освоение чужих обычаев, чужого языка... Пространство жизни раздвигалось. Накатывало что-то знакомое... Необъяснимая радость, пережитая много раз, когда она увязывала свои шелковые одеяла и подушки, и ширмочку с цаплей, и “Грачей” Саврасова, и голубой абажур, перебираясь на новые неведомые места, на новые трудности, в палатку, в фанзу, в закопченную комнатку...

Оранжевое солнце опустилось за овощной магазин. Сразу стало холоднее. Вита Моисеевна энергично поднялась.

– Решено! – сказала она вслух. – Мне нужна в жизни какая-то цель! Такой у меня характер!

Она полезла было в книжный шкаф за учебником английского языка, но решила вдруг, что сейчас, пожалуй, важнее поискать пропавший документ.

Вита Моисеевна открыла сервант и подняла крышку супницы. Кончик бинта, которым был обвязан кулек с бумагами, находился в том же положении, в котором она оставила его в последний раз: незаметно обматывал ручку. И бант, завязанный на пять петелек, лежал нетронутый. Гарик непременно затянул бы узел, если бы полез его развязывать. Кстати, развязать его не смогла и сама Вита Моисеевна. Пришлось перерезать. Она пересмотрела заново каждый диплом, каждую справку, курортные карточки, табеля, товарные чеки, фотографии. Детских было мало. Лерка и Гарик давно перетащили их в свои альбомы. Конечно! Ведь это их фотографии! Зачем они маме! Тут она

вспомнила, что должна быть еще одна, где они сфотографировались втроем... та, что не дошла до Натана... И лежит она, это совершенно точно, в черной сумке.

С самой войны ей не понадобилась ни одна из хранящихся там бумаг! Так, возила с квартиры на квартиру, перекладывала из шкафа в буфет...

Вита Моисеевна чуть не полезла сама за этой сумкой на антресоли. Давным-давно она спрятала ее туда под распоротую перину, потому что Гарик грозился очистить дом от старого мусора.

И что же? Вот вам и старческий маразм, вот вам и склероз! Петенька, внук Веры Николаевны, которого она позвала помочь, сразу обнаружил сумку на указанном месте!

Вита Моисеевна даже пыль с нее не смахнула. Щелкнула замком – и тут же увидела ветхий листок, хрупкий клочок бумаги, из-за которого были отравлены почти два месяца жизни!

Она хотела тут же позвонить Лерке, которая не мыслит себе борща без толченого сала, морщится, как от стрихнина, от каждого еврейского слова, которое Вита Моисеевна имеет неосторожность произнести в ее присутствии... Позвонить – и успокоить дорогую дочку насчет еврейского происхождения по материнской линии. Но решила сперва посмотреть, что еще лежит в сумке. Испугалась... Вдруг там окажутся какие-нибудь завалявшиеся деньги, вышедшие из обращения? Просроченные облигации... Или, не дай бог, потерянные в сорок пятом году хлебные карточки. К счастью, ничего такого там не оказалось.

Фотография была завернута в газету. Видимо, Вита Моисеевна так тщательно спрятала ее из-за надписи. “Дорогому Натану от жены и детей. В эти суровые дни помни о нас, ждущих скорой встречи с тобой и победы. Бийск. 11 декабря 1941 года”. Бумага была белая, чернила не выцвели. Почерк аккуратный, тогдашний. Вите Моисеевне показалось, что она подписала эту фотографию минут десять назад. И не было ей ни тяжело, ни больно читать это. То есть она всплакнула, конечно, но как-то просветленно...

В другом пакетице оказались письма Натана. И лишь одно из них – распечатанное. Вита Моисеевна просто диву далась, как это она могла забыть о таком кладе! Подумать только... После ее смерти дети выбросили бы эту сумку, даже не заглянув туда!

Вита Моисеевна села за стол и стала читать письма. Одно за другим. Жадно, будто только что их получила. Обращался Натан главным образом к ней. Были, конечно, специальные приписки для детей, вопросы об их здоровье и поведении, но в основном – только “Киска” да “Киска”... “Ты извини, Киска, что я повторяюсь, но дело в том, что мы не знаем, доходят ли наши письма. Может, хоть одно прорвется...” Действительно, в каждом письме он объяснял, как оформить аттестат. В каждом описывал встречу с Ефимом Юдовичем на Казанском вокзале. “Обнялись, как братья... он обещал... обязательно переберись поближе к нему, в Томск...”

Все это Вита Моисеевна помнила еще из первого письма. И только в предпоследнем оказалось такое, чего она никак не могла ожидать. “Я знаю, что отравлял тебе жизнь своей ревностью, но сейчас я прошу тебя, даже

настаиваю: если меня убьют – живи своей жизнью. Не нужно хранить мне верность, когда меня уже не будет...” Дальше говорилось о Юдовиче. О том, что он тоже любил Виту Моисеевну с детства. И как хорошо он относится к Лерке и Гарику. Ему, Натану, было бы спокойнее, знай он, что именно Ефим заменит его. Тут же он уточнял, что ни на чем не настаивает. Она не должна относиться к его словам, как к посмертному наказу, и вольна в своем выборе.

Главное же, чего Натан почти требовал от нее – не приносить себя в жертву детям. Он предупреждал, что любому мужчине, самому мягкому, не может нравиться, когда детей явно ставят выше его. “Даже меня, их родного отца, это порой обижало. И вообще в жизни нельзя делать ставку на детей. Они очень быстро вырастают и отходят от родителей, и тогда упаси тебя Бог им навязываться. У тебя должна быть собственная жизнь, не зависящая от них...”

Письмо это он просил уничтожить, чтобы его не нашла Лера. “Она девочка ревнивая и злопамятная, как все Эльзоны. Она не простила мне тот единственный случай, когда я отругал ее за нарочно испорченную книжку. Ты ее слишком балуешь, готова последнее с себя отдать, чтобы купить ей конфетку, и для Леры будет жестоким потрясением, если когда-то ты захочешь чего-нибудь лично для себя”.

Вита Моисеевна читала – и диву давалась: как он мог все это предвидеть? Вот откуда они, эти скандалы – из-за цепочки, из-за занавесей, из-за кримпленового отреза... Всего и не перечислить.

Представляя себе, как Лерка будет читать эти строчки, Вита Моисеевна ликовала. Но, подумав, решила, что все-таки не покажет их дочери. Раз Натан просил... Тем более, что дальше шло совсем уж интимное, обращенное только к ней. “Киска, – писал он. – Я тебя спрашивал сто раз, но ты всегда увиливала от ответа. Понимаешь, в детстве я не думал об этом. Я всегда знал, что люблю тебя, что ты – моя. Но теперь я очень прошу тебя. Ответь прямо, Киска: как ты ко мне относишься? Очень прошу тебя – напиши. Как только прочтешь это письмо – сейчас же сядь и напиши мне ответ”.

Вот вам и метрика... Вита Моисеевна буквально опухла от слез... Голос у нее пропал, и никому она не позвонила, даже Бэте. Да и при чем тут были все! Особенно Бэтя... Господи! Да не спрячь она тогда эти письма нераспечатанными – может, и жизнь ее пошла бы совсем по-другому! И ведь все вышло именно так, как он предвидел! Все, до мелочей! И вернуть уже ничего нельзя – вот что совершенно нестерпимо! Причем, больше жалела она не себя – мало ли в ее жизни было радостей! Да скатерть на столе разгладишь – вот тебе и радость! Жалела – его: погиб такой молодой! А она за всю жизнь ни разу не сказала ему: “Я тебя люблю”. Что ей стоило, дурочке, тысячу раз сказать ему это?! “Тебя, конечно! А кого же еще?” Боже, сколько всего можно было сказать!

Вита Моисеевна подтянула к себе листок бумаги, почеркала по газете подсохшей шариковой ручкой и написала: “Натан! Родной мой!..” И задумалась.

Снова что-то не давало ей прямо и просто ответить на его вопрос.

“Не знаю, прочтешь ли ты это письмо...”

Вита Моисеевна вдруг почувствовала, как листок двинулся из-под ее ладони к противоположному краю стола. Она не сразу решилась взглянуть...

Обгоревшая ветка, похожая на руку, тянула письмо по лакированной столешнице. Черное дерево, привычно сутулясь и опираясь на треснувший локоть, сидело напротив. Лист приподнялся поближе к тому, что можно было бы принять за голову...

– Мама! Мама!! – кто-то громко кричал над нею. То ли Натан, то ли Гарик.

– Что случилось? Чего ты так кричишь? – испугалась Вита Моисеевна.

Она обнаружила, что лежит под столом. Как ни странно, ничего у нее не болело. Однако она не стала успокаивать Гарика, позволила уложить себя на диван и сбежать за помощью к Алле Васильевне. Алла Васильевна на сей раз не проявила своей обычной горячности, не упрекнула Гарика в том, что восьмидесятисемилетняя мать брошена на произвол судьбы. И скорую вызывать отсоветовала.

– Ничего страшного! Это она уснула сидя. Вы же знаете, Гарик: она все время засыпает, когда телевизор смотрит. Или читает. Она у нас однажды “Дикую Розу” смотрела – и вдруг съехала со стула, как мешочек! И без стука. Испугала всех. Сколько я вам говорю! – напустилась она на Виту Моисеевну. – Не сидите вы на стульях! Вот же низкое кресло есть! Диван!

Вита Моисеевна еле дождалась, когда она уберется. Попросила Гарика подать ей таблетку седуксена и тридцать капель корвалола. Гарик подал безропотно. И воды принес. Вита Моисеевна чувствовала, что может подняться, но не спешила с этим. Испуг Гарика и без того прошел обидно быстро.

– Я нашла метрику... – сообщила Вита Моисеевна слабым голосом.

– А я за этим и пришел! – оживился Гарик. – Вспомнил, что у нас на антресолях валяется черная сумка со старыми бумагами.

– Там она и лежала, – ответила Вита Моисеевна, строго глядя в потолок.

– Конечно, Лера напрасно подняла из-за бумажки такой шум...

Было видно, что Гарику слова эти дались непросто.

– Прибыло письмо от Анечки. Она считает, что это все не так уж существенно.

– Ты принес письмо? – нерасчетливо встрепенулась Вита Моисеевна. – Что же ты сразу мне не дал?

– Давай-ка я его прочту тебе вслух.

– Нет-нет, я сама! Или ты что-то там не хочешь мне показывать?

– Ничего подобного, – пожал плечами Гарик и протянул ей два голубых листка.

Вита Моисеевна тут же обнаружила место, которое от нее собирались скрыть. Анечка просила осторожно подготовить Виту Моисеевну к тому, что такой уютной комнатки, какую она оставляет в Киеве, у нее уже не будет. Что придется пользоваться старыми чужими вещами. Что тех, кто перебирает и капризничает, в Америке не любят. “Я очень прошу вас, – писала Анечка, и ясно было, что это реакция на только что полученное письмо. Видно, Лера, Соня или сам Гарик жаловались ей на Виту Моисеевну. – Не воюйте с бабушкой! Наоборот. Пусть обязательно везет с собой все свои тряпочки: занавесочки, покрывальца. Все, что пройдет по весу. Пусть лучше одежды возьмет

поменьше. С этими покрывальцами и занавесочками ей будет здесь легче прижиться. В крайнем случае, что-то можно будет отправить сюда и посылкой”.

Вита Моисеевна несколько дней носила с собой это письмо и все перечитывала трогательные Анечкины слова. Подумать только! Девочка, которая ни дня не прожила в доме Виты Моисеевны, которую хамка и самодурка-мать с пеленок настраивала против отцовской родни, которую Вита Моисеевна ни разу не искупала, с которой ни разу не поговорила по душам – понимала ее лучше, чем те, в кого Вита Моисеевна вложила все свои силы и душу!

Главное – после этого письма Виту Моисеевну оставили в покое. Она делала то, что находила нужным. Стирала, крахмалила, гладила. Регулярно приходил Гарик. Взвешивал сложенные вещи и покорно, без комментариев, уносил на почту. Квитанции Вита Моисеевна аккуратно подшивала, к каждой подклеивала списочек с перечнем уложенных в посылку предметов.

Гарик и чемоданы ее безропотно перепакывал по двадцать раз. Только из-за бульонниц с ней поспорил. Он уверял, что на эти шесть фарфоровых двуручных посудин потребуется отдельный баул. Они, дескать, не укладываются одна в другую и, вообще, непонятно, зачем нужны. Вита Моисеевна действительно ни разу ими не пользовалась, но ведь теперь начиналась совершенно новая жизнь! Никак нельзя было втолковать Гарику, что именно там, в новой жизни, они и обретут свой настоящий смысл. Рисовалось что-то такое... благородное... Гости-американцы, очарованные, удивленные изысканным приемом Виты Моисеевны... В ней сладко бурлил, созревая, некий план... смесь гимназического бала, журфикса в доме Лебедевых и офицерской вечеринки. Причем непременно с этими бульонницами!

Но, к сожалению, не было рядом Анечки, чтобы поддержать ее, и Вита Моисеевна сдалась. Самое обидное – бульонницы и купить никто не захотел! Хорошо хоть, детки не стали язвить по этому поводу. Должно быть, находились под впечатлением от найденных писем Натана...

Май выдался такой теплый, нежный! Будто нарочно для того, чтобы жальче было уезжать. Лерка вдруг, без всяких просьб, явилась со своим благоверным, принесла картошку, чеснок, мясо биточное. Сама и обед сготовила: у Виты Моисеевны как раз нарывал палец на правой руке. Полезла в кладовку, вытащила из корзины грязное белье и перестирала. Там не много было: несколько рубашек, лифчики... Но все-таки! Вдобавок Вита Моисеевна услышала, как Лерка говорит мужу – он как раз развешивал на балконе белье:

– Я от этой стирки удовольствие получила! Ни запаха, ни пятнышка! Как будто его из шкафа вынули, а не из корзины!

В тот же вечер Сонечку показали по телевизору. Ее балетный кружок занял первое место на олимпиаде. Сначала дети исполнили несколько танцев. Потом им задавали вопросы. Одна девочка сказала: “Софья Борисовна – наш идеал. Это самый ласковый и добрый человек на всем свете!” И тут на экране появляется Соня... Стрижечка-каре, глаза большие, светлые, голосок скромный,

интеллигентный. Хотелось смотреть и смотреть на нее! И просто не верилось, что такая может орать и размахивать мокрой тряпкой, может так подло перемигиваться из-за какой-то цепочки... Фея – да и только! И в довершение всего она говорит: “Увлечение балетом у нас – семейная традиция. Моя бабушка прекрасно танцевала и привила любовь к танцам мне”.

Оказывается, они нарочно пришли именно в этот день, чтобы устроить ей сюрприз.

А Гарик... Это вообще не рассказать – как он водил ее фотографироваться! Фотограф уже снимать хочет, а он: “Нет, подождите!” То воротничок ей поправит, то волосы уложит попышнее и с накатом на лоб... Вышли из ателье – солнышко, никуда не хочется идти. Рядом уличное кафе, столики беленькие, новые!

– Посидим? – спрашивает Гарик. – Что тебе взять? Хочешь итальянское мороженое? Может, еще сок?

Костюм на нем светло-серый, рубашка такая белая, что аж слепит. И легкая-легкая седина в волосах... Молоденькие девчонки с соседнего столика – зырк, зырк... Ну как устоять мужчине?! Не будь ее рядом – конечно, завел бы очередной флирт!

Вита Моисеевна уже и не помнила, когда они вот так сидели в последний раз. Кажется, в Ленинграде на экскурсии. И снова она испытывала ту же приятную гордость: вот мы сидим вдвоем, сын и мать, красивые, нарядные, и нас просто нельзя не заметить, не запомнить...

Вита Моисеевна понимала, как эффектно рядом с костюмом Гарика выглядит ее собственное бледно-лимонное платье. И чувства были под стать: светлые, возвышенные... Никаких таких чулок, никаких венчиков... Перед ней сидел ее сынок, ее мальчик, и мысль о том, что они расстанутся надолго, а, может, даже навсегда, впервые посетила ее и буквально сотрясла.

– Ты что? – спросил Гарик.

– Ничего, – с трудом ответила она.

– Анечка уже подала на меня документы. Может, у меня все это получится как-нибудь побыстрее. Я ведь один, мне и продавать ничего не надо будет. Глядишь, через год-полтора и я к вам переберусь.

– Конечно! – оживилась Вита Моисеевна. – Тебе вообще будет легче. Ты сможешь сразу заехать ко мне!

И она с удовольствием прикинула, что это будет подходящий случай, чтобы распечатать новенький комплект индийского белья.

– Хочешь, я возьму тебе заварные пирожные? – предложил Гарик. – Ты же любишь.

Пирожных Вита Моисеевна не покупала уже года два и ела их с жадностью, хотя “перестроечный” крем был сделан из чего угодно, только не из сливочного масла. Но об этом она промолчала.

Видно было, что и Гарику очень хорошо сидеть вот так, за столиком. Он посматривал на часы с досадой.

– Мне очень жалко, мама, – сказал он наконец, – но я к трем должен попасть в одно место. Давай посидим еще полчаса, а потом я отправлю тебя домой на такси, а сам поеду туда.

Вита Моисеевна и на такси не ездила давным-давно. Горделиво усаживалась она на заднем сидении, с удовольствием смотрела в окошко, вдыхала речной воздух, пока машина проезжала по набережной. Но где-то возле речного вокзала, как раз на повороте, ей в голову пришла ужасная мысль. Она вдруг поняла, зачем Гарик так тонко усыплял ее бдительность. И для чего истратил такие деньги на такси – вместо того, чтобы спокойно отвезти ее домой на трамвае. Ясно, что где-то возле кафе его ждала другая машина, более быстрая, так что Гарик уже успел побывать в квартире и забрал оттуда все, что хотел.

Опрометью бросилась она из машины к парадному. Зацепившись о порог, упала, очень больно ударила руку, но тут же вскочила с неожиданной ловкостью и заметалась между лестницей и лифтом, не зная, откуда ждать появления сына. Наконец, предпочла лифт. Дрожащими руками отперла замок. Многие вещи из дома она уже распродала, и в этом беспорядке трудно было понять, рылся там кто-то или нет. Документы лежали в супнице. Кольцо, цепочка и пенсия – все оказалось на своих местах. Вита Моисеевна уже успокоилась было и отправилась на кухню варить манную кашу, когда вспомнила о керамической сахарнице и ринулась к ней... И с ужасом обнаружила, что сорок долларов, полученных за холодильник, там не лежат.

Сначала она позвонила Бэте. Но той не оказалось дома. Тогда она позвонила Лерке и прямо сказала ей: “Твой брат – подлый вор. А я – большая дура, что не послушалась вашего отца и не вышла замуж. И если бы я вас сдала в интернат, вы бы меня больше ценили. Если бы я на первое место ставила не вас, а вашего отца...”

Тут Лерка начала визжать прямо с места, без разгона. “Ты не нас ставила на первое место! Ты себя ставила на первое место, везде и всегда! Что ты отца без конца выставляешь?! Он бы тебе такие письма не писал, если бы знал, что ты ни разу не съездишь к нему на могилу!”

– Ты что, не знаешь, что это у черта в зубах, что туда никакой транспорт не ходит?!

– Не надо было денег жалеть! – орала Лерка. – Наняла бы машину!

– Что же *ты* не наняла?! Тебе он тоже не чужой, кажется!

Тут Лерка что-то такое понесла, что уже и понять было невозможно.

Вита Моисеевна не стала ее дослушивать и сразу позвонила Мане.

– Вот! – говорит. – Поздравляю! Ты его защищала, этого выродка, а он у меня украл сорок долларов! Хватит с меня! Сейчас же вызываю милицию – и пусть его к черту арестуют!

– Ты с ума сошла! – зашепелявила Маня. – Подожди, я скоро приеду!

И действительно, притащилась минут через сорок.

Милицию Вита Моисеевна не вызвала: стыдно было впускать чужих людей в такой тарарам. Часть мебели уже вывезли, рассортированная одежда лежала прямо среди комнаты на простынях, пятью неустойчивыми горками. Сгоряча она попыталась придать всему этому более приличный вид, но тут обнаружилось, что ушибленная рука распухает, и какой-то синяк, очень странный, полез на две стороны...

Маня хотела звонить на “скорую помощь”, но Вита Моисеевна испугалась, что ее куда-нибудь повезут и снова придется оставить добро без присмотра.

Тогда Маня бросилась звонить Лерке и потребовала, чтобы та немедленно приехала. А затем полезла в буфет...

Нет! Ну, подумайте сами... Может ли быть такое: человек лезет в чужой буфет, снимает крышку с чайничка и достает оттуда пропавшие деньги? Причем, рассматривает их с таким интересом! Я, дескать, никогда раньше долларов не видела...

Будь на ее месте хитрая Бэтя, она бы все обставила куда правдоподобнее. Перерыла бы сначала квартиру, место придумала бы получше... Но, поскольку Бэти дома не оказалось, Гарику, видно, пришлось обратиться к Мане. А та подошла с этими деньгами в кулаке к первой попавшейся посудине и сделала вид, что нашла их там. И еще радуется вслух, что они такие жесткие и благодаря этому не намокли! Будто Вита Моисеевна могла их сунуть в чайничек, которым пользуется, и не посмотрела, что на дне еще есть заварка! А эта дуреха вместо того, чтобы помалкивать, нагло заявляет: “Я раньше сомневалась немножко, допускала мысль, что Гарик прячет от тебя кое-какие вещи назло, но теперь вижу, что он ни в чем не виноват!”.

Это она уже при Лерке сказала. А та на нее же и набросилась. “Я от вас такого не ожидала, тетя Маня! Пусть эта... выжила из ума, но как вы могли даже на секунду подумать, что Гарик трогал ее барахло! Он же святой, если мог ее выдерживать столько лет! Отдал ей лучшую комнату, каждый год отправлял в ведомственный дом отдыха! С ней там носились, как с писаной торбой! Как же – ведь это мама Георгия Натановича! Отказался из-за нее от личной жизни, в конце концов ушел совсем из собственного дома, чтобы она не бесилась! А сейчас? За чьи деньги он ее старые лохмотья пересылает в Америку?! Его уже весь почтамент знает! Приемщицы хохочут, когда проверяют ее штопанные трусы и блузки! А вы говорите: “Прятал назло!” Сколько она ему нервов перевела с этими манишками! А теперь сама соглашается, что их можно выбросить! Да я бы на месте Гарики, чем носить эту дрянь на почту, выбросила бы ее по дороге в первый же мусорный ящик!”

Орала Лерка полчаса, не меньше. Но в конце концов вызвали-таки “скорую”. Оказалось, что у Виты Моисеевны перелом пястной кости. И в Америку она уехала с гипсом на руке.

Из-за этой руки и в аэропорту получилась сцена. Таможенники шутя спросили, нет ли у нее под гипсом “золота и бриллиантов”. Вита Моисеевна не поняла, что имеется в виду всем известный фильм, и стала возмущаться и выкладывать им свою героическую биографию. А те – может, для того, чтобы приструнить старуху – велели предъявить содержимое ее карманов. Ну, и вытащили оттуда бабкину вязаную шаль, которую Бэтя тайно принесла в аэропорт и сунула в карман плаща Виты Моисеевны. Оттого и был у Виты Моисеевны вороватый вид. Но откуда таможенникам было знать, что боится Вита Моисеевна не их, а своей бесноватой дочери? Развернули шаль при

всех... Ну, и обнаружались в центре две дырки... Одна поменьше, а во вторую – так и голова могла бы пролезть...

Лерка, которая уже прошла досмотр, при виде этих дыр так разошлась, что Маня в голос заревела, а Бэтя затрясла на Лерку кулаком: "Закрой свой рот, девчонка!" И чужие люди вокруг зашумели: "Как вам не стыдно! Оставьте в покое старуху! Отдайте старухе шаль!" "Она и абажур у меня забрала!! – закаркала окрыленная Вита Моисеевна. – Пусть абажур мне вернет! Голубой с хризантемами!" А Лерка торжествующе вопила через барьер, из-за границы, из другого мира: "Слышите?! Слышите?! Теперь вы поняли, что она выжила из ума?!"

Сама толстая, черная, возле носа бородавка, за последние дни лет на десять постарела! А Вита Моисеевна и вовсе сдала – старее своей шали, жалкая, как птенчик, выпавший из гнезда... Стыд и срам...

Господи, господи! Что ты делаешь с нами? Зачем? Чтобы ближним нашим было легче перенести потерю? Напрасно. И без того они переживут, привыкнут... Чтобы нам самим было легче расстаться с этим миром? Так вот знай, Господи, что Вита Моисеевна сейчас боится смерти куда больше, чем в тот день, когда она сидела в красном плюшевом пальтишке на теплой навозной куче. Под ясным солнышком... И больше, чем в тот вечер, когда, взволнованная и азартная, она шла рядом с Колей Лебедевым, готовясь постоять за честь родного города...

– Понимаешь, – прерывающимся от спешки и мороза голосом рассказывал Коля. – Этот Ладейников... он такой заносчивый! "Я показал бы вам, как у нас в Петрограде танцуют настоящую мазурку! Но где здесь у вас найдешь партнершу..." Вот сейчас ты ему покажешь!

Молодой снег легко нахрустывал под их ногами. На Вите Моисеевне было синее пальто, отороченное белым каракулем. Белая муфта болталась на шнуре влево-вправо.

В русской гимназии ярко светились окна второго этажа. Вита Моисеевна скинула на руки Коле свои посыпанные тающими блестками вещи и вошла в зал, с деланной робостью опустив глаза. Но чужака разглядеть успела, успела заметить и одобрительный взгляд, относящийся к трехъярусному кружеву ее передника, ко всей ее складной фигурке. Подметила она и снисходительное недоверие, с которым кадет протянул ей руку. Она нарочно подкармливала это недоверие, чуть неуклюже следуя за ним к центру зала... И Коля Лебедев моргал непонимающе, неузнаваемо – пока она не ударила ножкой о ножку и не понеслась внезапно с места, так что у кадета удивленно вытянулось лицо... Коля Лебедев мгновенно расцвел! Смотрел на нее восхищенно и гордо – будто не только привел ее сюда, но сам и на свет произвел! сам нарядил в этот белопенный передник!

А как он смотрел на нее потом, на вокзале, когда они с Маней и Бэтей провожали его в Москву! Переводил умиленные голубые глаза с одной на другую и повторял:

– “Три сестры!” Ну прямо “три сестры!” Я всегда удивлялся: откуда в нашей провинции – такая красота? Столько вкуса, столько изящества!

Они стояли, благодарно потупясь, растроганные. Хотя выглядели в тот день не наилучшим образом. У Бэти опухла левая нога, так что к ней вместо туфли пришлось привязать зеленый комнатный тапок. Вита Моисеевна ради дорогого гостя купила импортную краску, от которой волосы у нее взялись рыжими пятнами. А у Мани как раз накануне сломалась верхняя челюсть, и ее пришлось отдать в починку.

1999 – 2002